

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](http://Royallib.ru)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Янки в мундирах

ПРЕДИСЛОВИЕ

В сборник «Янки в мундирах» включены отрывки из произведений популярных писателей: Марка Твэна, Говарда Фаста, Джона Уивера и Стефана Гейма, разоблачающих реакционную сущность американской политики на протяжении последнего столетия. Произведения этих писателей рисуют события, относящиеся к различным историческим отрезкам времени, но все они отражают политику черной реакции, агрессии и развязывания войн, политику порабощения и угнетения свободолюбивых народов, характерную для всей истории американского империализма.

В. И. Ленин в своих гениальных исследованиях охарактеризовал историю американского империализма, как «кровавую историю кровавого империализма».

На протяжении веков Соединенные Штаты Америки выступали в роли душителей и палачей народно-освободительных движений. Не останавливаясь перед вооруженной интервенцией, американские империалисты вмешивались во внутренние дела других стран, насильственно насаждая там реакционные антинародные режимы. Так было на заре возникновения империализма в Соединенных Штатах Америки, то же происходит и сейчас, в наши дни.

История американского империализма — это история насилий, угнетения и захватнических войн. Достаточно напомнить, что за период от провозглашения независимости в 1783 году до начала XX века вооруженные силы США провели 114 войн!

Все эти войны велись во имя единственной цели — захвата чужих земель, ограбления их, приобретения новых рабов, установления американского господства. Намечая жертву агрессии, американские хищники не останавливались перед уничтожением целых народов. Рассказывая о зверствах американских войск на Филиппинах, Марк Твэн писал: «Мы наложили руку на весь обширный архипелаг, как будто вся эта территория и вправду наша; мы «успокоили» тысячи жителей острова и похоронили их, уничтожили поля этих людей, сожгли их селения и лишили крова осиротевших вдов и детей, изгнали из страны и разбили сердца многих неугодных нам патриотов, а остальные десять миллионов филиппинцев поработили при помощи «добровольной ассимиляции» (так теперь лицемерно называют применение мушкета)...»

Можно привести множество примеров безжалостной расправы американских капиталистов с целыми народами во имя своих корыстных и захватнических планов. Индейцы, коренные жители американского континента, были безжалостно истреблены по воле правящих кругов США, миллионы негров были превращены в бесправных рабов. Жители островов, захваченных американцами, были обречены на угнетение и рабство.

Захват территорий, порабощение народов, ограбление покоренных и зависимых стран явилось источником обогащения империалистов Соединенных Штатов Америки.

XX век ознаменовался дальнейшим расширением американской агрессии. Стремясь к переделу мира, к установлению своего мирового господства, США способствовали обострению борьбы между империалистическими хищниками.

Американская буржуазия прилагала все усилия, чтобы развязать первую мировую

войну, рассматривая ее как источник своего обогащения за счет других народов. Американские пушечные короли, умножая на военных заказах свои и без того баснословные прибыли, были заинтересованы в продлении этой войны. В своем «Письме к американским рабочим» В. И. Ленин писал: «Американские миллиардеры были едва ли не всех богаче и находились в самом безопасном географическом положении. Они нажились больше всех. Они сделали своими данниками все, даже самые богатые, страны. Они награбили сотни миллиардов долларов. И на каждом долларе видны следы грязи: грязных тайных договоров между Англией и ее «союзниками», между Германией и ее вассалами, договоров о дележе награбленной добычи, договоров о «помощи» друг другу в угнетении рабочих и преследовании социалистов-интернационалистов. На каждом долларе — ком грязи от «доходных» военных поставок, обогащавших в каждой стране богачей и разорявших бедняков. На каждом долларе следы крови — из того моря крови, которую пролили 10 миллионов убитых и 20 миллионов искалеченных...»¹

Агрессивная внешняя политика, обогащение за счет других народов всегда сочеталась с реакционной внутренней политикой американских империалистов. Правящие круги США беспощадно расправлялись с рабочими, отстаивавшими свои экономические права, требовавшими сносных условий существования. Кровавая расправа с демонстрантами — безработными ветеранами первой мировой войны, организовавшими в 1932 году «голодный поход» в Вашингтон, — одна из самых страшных страниц американской истории.

Продажная печать американских монополий прилагает все усилия, чтобы история Соединенных Штатов Америки, история грабежей и насилий не стала достоянием широких масс. Фальсификация истории стала обычным явлением за океаном. Сотни книг посвящены восхвалению американского «демократизма», лакировке действительности, сочинению небылиц о «прогрессивной миссии» США.

Но честные американцы всегда отдавали и отдадут себе отчет в том, что империализм США — это злейший враг народов, душитель освободительных движений. В своих правдивых произведениях лучшие представители американской литературы рисуют истинное лицо американских крестоносцев огня и меча.

Сорок с лишним лет назад талантливый американский писатель Марк Твэн описал «битву» между американской армией, оснащенной всеми видами оружия, и горсткой безоружных филиппинцев племени моро, укрывавшихся в кратере вулкана от американских захватчиков. «Численность противника, — с горькой иронией писал Марк Твэн, — определялась цифрой в шестьсот человек, включая женщин и детей, и мы уничтожили всех до единого, не оставив в живых даже младенца, чтобы оплакивать мертвую мать. Это была, бесспорно, самая «великая победа», которой когда-либо добились христианские воины Соединенных Штатов».

Марк Твэн с огромной силой и обличительным сарказмом рассказывает об этом чудовищном преступлении американской армии, совершенном в марте 1906 года.

Не менее «гуманно» поступили американские колонизаторы с коренными жителями Северной Америки — индейцами. Последние были насильственно изгнаны с северных территорий страны и отправлены в так называемые резервации — разновидность негритянских гетто. В резервациях, расположенных на бесплодных, болотистых и непригодных для колонизации землях, оторванные от родных мест и привычного образа жизни, индейцы владели жалкое существование. Они тысячами вымирали от туберкулеза и малярии, от голода и истощения. Особенно велика была детская смертность.

Расистские, челоноконенавистнические принципы отношения американской буржуазии к индейцам выражены с предельным цинизмом в поговорке, имевшей широкое хождение среди американских колонистов: «Хороший индеец — мертвый индеец». Охота за индейцами была своего рода профессией и ничем не отличалась от охоты на диких зверей.

¹ В. И. Ленин, Соч., т. 28, изд. 4-е, стр. 46.

Недаром в американской литературе широко распространены шовинистические, приключенческие описания карательных экспедиций против индейцев.

В 1878 году часть племени шайенов, возмущенная зверским обращением местных властей, покинула свою резервацию в штате Оклахома и двинулась на север. Индейцы преодолели сопротивление брошенных против них войск и прорвались на север, к канадской границе, на свою родину.

Описанию последнего вооруженного столкновения между северо-американскими индейцами и регулярными войсками США посвящена книга прогрессивного американского писателя Говарда Фаста «Последняя граница». Талантливый писатель, один из активных борцов за мир и демократию, Говард Фаст разоблачает реакционную политику американских правящих кругов, показывает истинное лицо американских расистов.

Наиболее сильные главы романа «Последняя граница» — «Победители и побежденные» и «Свобода» — посвящены жестокости американской военщины. Автор рассказывает об издевательствах и пытках, которым подвергались беззащитные пленные индейцы в форте Робинсон. Добиваясь «добровольного» возвращения индейцев в резервацию, американские «цивилизаторы» заперли уставших от долгого перехода и лишений людей в холодный барак, лишив их пищи и воды. В отчаянии пленные совершают новую попытку к бегству и тогда американские солдаты истребляют их с холодной жестокостью изуверов.

Говард Фаст правдиво изображает американских чиновников и представителей военных властей. Он показывает, что судьбами индейцев, загнанных в резервации, а затем в форт Робинсон, распоряжаются тупые, чванливые и безжалостные солдафоны. Они сознательно издеваются над индейцами, испытывают их терпение, обрекают на унижения, чтобы заставить их бежать, а затем воспользоваться этим бегством для организации карательной экспедиции и поголовного истребления целого племени.

В книге «Последняя граница» разоблачается расизм американских империалистов, их человеконенавистничество по отношению к другим народам. Читая книгу Говарда Фаста, испытываешь глубокое сочувствие к свободолюбивым мужественным индейцам-шайенам, ощущаешь жгучую ненависть к расистам и палачам Майлсу, Мэррею, Мизнеру, праотцам современных янки, зверствующим и бесчинствующим в Корее.

Книга Говарда Фаста — подлинно прогрессивная и правдивая книга! Она открывает советскому читателю одну из позорных страниц истории Соединенных Штатов Америки.

Роман Джона Уивера «Пиррова победа» посвящен одному из ярких эпизодов классовой борьбы в Соединенных Штатах Америки в тридцатых годах XX века. Джон Уивер смело и остро рисует расправу американских правящих кругов с рабочим классом, отстаивающим свои законные требования.

О большой смелости писателя свидетельствует тот факт, что в условиях разгула реакции в США он решился положить в основу своего романа такие события, как расправа американских войск с безоружными демонстрантами. Джон Уивер рассказывает о событиях 1932 года, но это звучит особенно актуально сейчас, когда американская реакция стала на путь прямой фашизации Соединенных Штатов Америки. Напоминая американскому народу о расстреле голодных демонстрантов в 1932 году, Джон Уивер тем самым заставляет честных американцев задуматься над действительностью сегодняшней Америки. И в этом большое достоинство книги Уивера.

Безработица — этот неизбежный спутник капитализма — достигла небывалого размера в Америке во время экономического кризиса 1929–1933 годов, охватившего все капиталистические страны. Джон Уивер показывает, как по мере углубления экономического кризиса растет безработица. В конце 1931 года число безработных в Америке достигло 15 миллионов. Эта цифра продолжала расти с каждым месяцем. Но это были лишь полностью безработные. Кроме них, были еще миллионы рабочих, занятых на производстве всего несколько дней в неделю. Безработица охватила не только города, но и сельские местности. Разоренные фермеры были вынуждены уходить с земли и превращаться в бездомных бродяг.

Миллионы людей были обречены на голод, холод и медленную смерть. Потеряв заработок, безработные лишались крова, одежды, возможности посылать своих детей в школу, то есть элементарных человеческих условий существования. На окраинах больших городов возникали целые поселения: безработные сбивали себе лачуги из кусков жести, старых полусгнивших досок. В стране хваленой американской цивилизации тысячи людей перебрались в пещеры, чтобы укрыться от непогоды.

Американские рабочие не остались пассивными. В эти годы они особенно ожесточенно боролись против капиталистов. Несмотря на угрозу остаться без работы, рабочие организовывали стачки на предприятиях.

В марте 1930 года миллион с четвертью демонстрантов вышли на улицы многих американских городов. Правительство ответило на открытое выступление рабочих разнузданным террором, но это не сломило решимости рабочих бороться за свои права.

Одной из форм этой борьбы и выражением протеста были походы безработных в крупные промышленные центры с требованием помощи голодающим. В конце 1931 года был организован всеамериканский «голодный поход» в Вашингтон. Демонстранты дошли до столицы, но правительство не приняло представителей рабочих. В начале 1932 года безработные ветераны войны организовали новый «голодный поход» в Вашингтон.

Бывшие участники первой мировой войны, доведенные до отчаяния многолетней безработицей и лишениями, решили отправиться в Вашингтон, чтобы потребовать немедленной выплаты установленной законом компенсации за службу в армии. Правительство не оспаривало права ветеранов на эту компенсацию, но перенесло выплату пособия... на 1945 год. Между тем эти деньги нужны были безработным ветеранам войны на хлеб, а отсрочка выплаты пособия на 13 лет была в условиях кризиса и безработицы издевательством.

Безработные ветераны вместе с женами и детьми совершили труднейший поход в Вашингтон. Они шли голодные и измученные, ночевали под открытым небом, подвергались издевательствам со стороны полиции, нападениям фашистских молодчиков, избивавших всех, кто попадался им под руку. В столице демонстрантов ждали новые страдания. Правительство отказалось принять их представителей, и ветераны расположились на площади перед Белым домом. Мужчины, женщины и дети спали на голой земле, питались отбросами и настойчиво ждали удовлетворения своих требований.

Но американский конгресс отказался удовлетворить законные требования ветеранов о выплате компенсаций. Правительство решило изгнать ветеранов из столицы. Сначала оно пыталось добиться ухода ветеранов провокациями. Джон Уивер рассказывает о том, как власти пытались подкупить руководителей похода. «Вы сблизитесь с руководителями похода, Бэнкс даст вам денег, — уговаривает капиталист Дрисколл безработного журналиста Парк Хойта — одного из героев книги «Пиррова победа»... Вы войдете к ним в доверие, потом разузнаете всю их подноготную, уголовное прошлое, связи с коммунистами, — словом все, и каждую неделю будете посылать мне секретное донесение... Я должен доказать, что всю эту штуку затеяли красные, и разогнать их ко всем чертям».

Парк Хойт отказывается выполнять функции шпиона, хотя ему обещают за это работу. Вашингтонские фашисты испеьзуют в провокационных целях других менее сознательных участников похода. Они стараются устранить самых смелых и передовых ветеранов, не останавливаясь для этого перед клеветой, провокациями, убийствами из-за угла.

Самые сильные страницы книги Джона Уивера посвящены показу того, как при помощи войск вашингтонские правители одерживают «пиррову победу»² над измученными ветеранами. Американская армия с артиллерией, танками, слезоточивыми газами брошена

² Пирр Эпирский — крупный полководец древности, в 279 году до н. э. ценой громадных потерь одержал победу над римлянами. С тех пор подобные победы называют «пирровыми победами». В данном случае потери победителя носят не материальный, а моральный характер. Вашингтонские власти, выиграв «битву» у ветеранов, понесли жестокое поражение перед лицом всего прогрессивного человечества.

против демонстрантов, единственным оружием которых являются собственные кулаки и булыжники, вывернутые из мостовой. Вашингтонские правители учинили зверскую расправу над ветеранами, людьми, проливавшими во время первой мировой войны кровь на фронте, хотя они не просили ничего, кроме удовлетворения своих законных требований.

Читателю нетрудно придти к выводу, что те же руководители американской армии, которые учинили зверскую расправу с безоружными демонстрантами в тридцатых годах, действуют сегодня в Корее, расправляясь с мирными жителями. Характерно, что начальником штаба американской армии, который руководил позорным «сражением» вооруженных сил США против ветеранов в 1932 году, был генерал Макартур, тот самый Макартур, который до недавнего времени возглавлял армию американских интервентов в Корее. В книге Джона Уивера упоминается еще одно реально действующее лицо — генерал-майор Джордж Ван-Хорн Мозли, ближайший сотрудник Макартура.

Поголовное уничтожение филиппинцев, укrywшихся в кратере вулкана от своих угнетателей, истребление индейцев, стремившихся вернуться в родные края, расстрел безоружных демонстрантов — таковы злодейские деяния американских империалистов, таково лицо американской армии.

За годы, отделяющие нас от событий, описанных Марком Твэном, Говардом Фастом и Джоном Уивером, ничто не изменилось в реакционной сущности американского империализма. Американские правящие круги, став на путь фашизации страны, открыто проводят агрессивную политику, поддерживая силы реакции и безжалостно расправляясь с лучшими представителями американского народа.

В годы второй мировой войны правящие круги США проводили глубоко реакционную политику, направленную к тому, чтобы обескровить Советский Союз, добиться его ослабления в войне с гитлеровской Германией. Цели американских империалистов не имели ничего общего с теми благородными идеалами, во имя которых сражались против фашизма миллионы простых людей Америки и Англии.

Прогрессивный писатель Стефан Гейм посвящает свою книгу «Крестоносцы» разоблачению подлинных целей американских империалистов во второй мировой войне, показу истинного лица армии США. Советский читатель знает Гейма по его роману «Заложники», посвященному движению сопротивления в Чехословакии. «Крестоносцы» — большой шаг писателя вперед в его творческом пути.

Действие романа происходит в Европе после высадки американских и английских войск в Нормандии. Американская армия высадилась в Европе лишь в конце войны, когда Советская Армия, одержав блестящие победы над гитлеровскими вооруженными силами, уже сражалась на немецкой земле, в самом логове фашистского зверя. Америко-английские империалисты после долгих оттяжек открыли второй фронт в Европе, боясь, что Советская Армия, разгромив гитлеровскую Германию, освободит Европу от коричневой чумы фашизма и поможет народам освобожденных стран построить свободную жизнь. Но достаточно было гитлеровцам активизировать военные действия в Арденнах, как американские войска обратились в паническое бегство. Только начавшееся на Восточном фронте широкое наступление Советской Армии спасло американскую армию от полного разгрома.

Стефан Гейм не останавливается на деталях военных событий, они как бы служат фоном романа. Но на этом фоне нарисована яркая картина нравов, царивших в то время в штабах и действующей армии США.

Гейм рисует «крестоносцев» доллара — генералов, офицеров и солдат американской армии. Среди них реакционеры — генерал Фарриш, майор Уиллоуби, капитан Люмис, сержант Дондоло. Им противопоставлены честные американцы — лейтенант Иетс, сержант Бинг, полковник Девитт и другие. У каждого из них своя судьба, свои цели и свои намерения. Характеризуя их, Стефан Гейм убедительно показывает, какая пропасть лежит между американцами, ненавидящими фашизм, и империалистами США, преследующими свои грабительские захватнические цели в войне.

Автор разоблачает типичных представителей американской военщины. В главе «Сорок восемь залпов из сорока восьми орудий» рассказывается, как генерал Фарриш поручает сержанту Бингу и лейтенанту Йетсу составить листовку для распространения ее среди немецкого населения. Эта листовка должна рассказать немцам, за что воюют союзники в Европе. Честные американцы Бинг и Йетс пытаются сказать в листовке, что союзные войска дерутся во имя освобождения мира от гитлеровской чумы. Но высшее командование американской армии запрещает эту листовку.

Такая листовка была не нужна фарришам, уиллоуби и иже с ними.

— Послушайте, сержант Бинг, — с глубокой горечью разъясняет один из американских офицеров сержанту, — наша революция — это древняя история. Сегодня, если вы произнесете это слово, поднимется крик «красный»! Вы написали революционную листовку... Равенство перед законом! Вы знаете не хуже меня, что миллионы людей в Америке не имеют даже права голоса!.. Самим управлять своей судьбой! Я кое-что знаю о том, кто управляет страной, — я сам работал в крупных концернах. И война ничего не изменила. Эта же порода людей хозяйничает в Европе, она же хозяйничает и в Германии. И не говорите мне о разнице в методах. В Америке мы еще не дошли до концентрационных лагерей и массового истребления национальных меньшинств. Но, если люди, стоящие у власти, решат, что так нужно, все это у нас будет — и безотлагательно!»

Эти слова, вложенные автором в уста одного из своих героев, звучат пророчески. Действительно, в сегодняшней Америке есть и концентрационные лагеря, и расовое неравенство, и фашистский полицейский террор.

Яркими красками рисует Гейм отвратительные черты представителей реакционной военщины, их моральное падение и низость. Такие откровенные фашисты, как Дондоло, прямо говорят о том, что «...Гитлер отлично знал, что делает, и Муссолини тоже». Но Дондоло выражает вслух лишь то, что не решаются открыто сказать другие, вышестоящие представители военщины. На самом же деле американские империалисты сочувствуют и покровительствуют гитлеровским генералам и промышленникам. С первых дней оккупации они сотрудничают с ними, насаждая в Западной Германии реакционные антинародные порядки.

В полном соответствии с исторической правдой Стефан Гейм показывает в книге «Крестоносцы», как гитлеровские генералы не без основания лелеяли накануне поражения планы сотрудничества с американскими и английскими правящими кругами. Так, фельдмаршал Клемм-Боровский, командующий немецкой армейской группой на Западном фронте, беседуя с эсесовцем Петтингером, говорит: «Не забывайте, Петтингер, Европа — это сердце мира, а Германия — сердце Европы. Уверяю вас, в Лондоне и Вашингтоне уже задаются вопросом: как же будет построена послевоенная Европа, как будет построена Германия — по их образцу, то есть по нашему, или по образцу русских? Разгромив нас, Лондон и Вашингтон должны будут нянчиться с нами и воссоздавать Германию заново, ибо без нашей помощи им не обойтись. Вот тогда-то вы и выступите вперед, Петтингер».

Когда американские войска вступили во Францию, дорога на Париж была открыта: основные силы немцев были оттянуты на Восточный фронт, Париж охвачен восстанием против гитлеровских оккупантов. И вот появляется генерал Фарриш со своими войсками. Американские офицеры ведут себя во Франции, как в колонии, а не как в союзной стране.

Они стремятся к наживе, спекуляциям и развлечениям в Париже.

Поведение капитана Люмиса — типичного представителя американской военщины — характерно для лица армии США. На баррикадах, мимо которых проезжает автомобиль Люмиса, жители Парижа радостно приветствуют американцев, считая их союзниками в борьбе против гитлеровских оккупантов. Французы окружают машину Люмиса, приветствуя американских солдат и офицеров. В это время с крыши одного из домов раздаются выстрелы засевших там немецких снайперов. Вместо того, чтобы оказать им отпор, Люмис прячется от пуль за француженку Терезу и гонит вперед машину. Тереза очутилась в машине с американскими офицерами и попадает в один из парижских отелей. Измученная борьбой на

баррикадах, голодная и усталая она доверчиво соглашается пообедать с американскими офицерами. Но американские офицеры обманывают доверие девушки, они подпаивают ее вином и насилуют. Вот они американские крестоносцы!

Сотрудничество с гитлеровцами, покровительство реакционным элементам, бесчинства американских солдат и офицеров, их полная безнаказанность, чистка армии от прогрессивных элементов — все это вызывает возмущение честных американцев, выведенных в книге Гейма в образах Нетса, Бинга и Девитта.

«Крестоносцы» — правдивая книга, разоблачающая американских империалистов. Читая ее, понимаешь, что те же фарриши, люмисы, дондоло и уиллоуби подвизаются сейчас в Корее, грабят, убивают и насилуют мирных жителей, уничтожают города и села. Книга Гейма помогает понять и осмыслить события, происходящие сейчас. Она воспитывает у советских людей жгучую ненависть к американским империалистам — заклятым врагам социализма, мира и демократии.

Предлагаемые в настоящем сборнике отрывки из произведений Марка Твэна, Говарда Фаста, Джона Уивера и Стефана Гейма показывают советскому читателю, что на протяжении всей истории Соединенных Штатов Америки американские империалисты были злейшими врагами прогресса и демократии, палачами свободолюбивых народов, поборниками войны и агрессии.

МАРК ТВЭН ИЗ АВТОБИОГРАФИИ³

В понедельник 12 марта 1906 года Твэн записал:...Об этом потрясающем факте мир узнал в прошлую пятницу. О нем сообщил официальной телеграммой нашему правительству в Вашингтоне командующий американскими военными силами на Филиппинах. Суть дела такова.

Племя темнокожих дикарей «морю» забаррикадировалось в кратере потухшего вулкана неподалеку от Джоло. Так как туземцы были враждебно настроены по отношению к нам и озлоблены за то, что мы в течение восьми лет пытались лишить их свободы, то их пребывание в кратере таило для нас угрозу. Наш командующий Леонард Вуд послал туда разведчиков. Разведка установила, что туземцев вместе с женщинами и детьми было шестьсот человек и что воронка кратера находится на высоте 2200 футов над уровнем моря. Добраться туда христианскому воинству с артиллерией представлялось нелегкой задачей. Генерал Вуд приказал напасть на туземцев внезапно и сам отправился со своими людьми, чтобы лично обеспечить успех этой операции. Наши войска, захватив с собой несколько пушек, карабкались на гору окольными, труднопроходимыми тропками...

Подойдя к самому кратеру, начали бой. наших солдат было 540 человек. Им были приданы вспомогательные части в составе отряда местных полицейских (которые находятся у нас на жаловании), — сколько их было, не указано, — и отряда моряков, тоже неизвестной численности.

Можно, тем не менее, предполагать, что по количеству людей стороны были равны: шестьсот мужчин у наших над кратером и шестьсот мужчин, женщин и детей на дне его. Глубина кратера — 50 футов.

В приказе генерала Вуда было написано: «Убить или взять в плен 600 человек».

Началась битва (так официально именуют то, что потом произошло). Наши солдаты открыли по людям в глубине кратера огонь из пушек. Одновременно они били по туземцам из ружей и пистолетов. Дикари оказали отчаянное сопротивление, — вероятно, пустили в ход обломки кирпичей (впрочем это только мое предположение, ибо в телеграмме не указано, каким оружием располагали туземцы). До сих пор это племя имело на вооружении,

³ Статья, опубликованная в журнале «Знамя» № 4 за 1948 год.

главным образом, ножи и палки, и лишь изредка им удавалось раздобыть какие-нибудь плохонькие мушкеты.

В официальном сообщении говорится, что стороны дрались с ожесточением на протяжении полутора суток и что битва окончилась полной победой американского оружия. Следующий факт подтверждает, что победа была действительно полной: из шестисот туземцев в живых не осталось ни одного. Это была блестящая победа, о чем свидетельствует также еще один факт: из шестисот героев с нашей стороны погибло только пятнадцать.

Генерал Вуд присутствовал при этом и наблюдал за ходом битвы. Его приказ гласил: «Убить или взять в плен этих дикарей». Вполне очевидно, что люди генерала Вуда видели в этом приказе право действовать, как они захотят, т. е. убивать или брать в плен в зависимости от собственного вкуса. А вкус наших военных в тех краях остается неизменным уже восемь лет. Это вкус христианских убийц...

В официальном сообщении, как и подобает, восхваляются и превозносятся «героизм» и «доблесть» наших войск и оплакивается гибель пятнадцати человек. Много сказано и о раненых, число которых составило тридцать два человека. В телеграмме подробно и добросовестно расписан, для сведения будущих американских историков, характер ранения этих тридцати двух. Сообщают о рядовом, у которого был задет локоть и указана фамилия этого рядового. У другого солдата оказался поцарапанным кончик носа. Его имя также не забыли в телеграмме (по полтора доллара за слово!).

На следующий день газетные сообщения подтвердили то, что было уже сказано накануне. Опять были перечислены фамилии пятнадцати убитых и тридцати двух раненых, снова были описаны их раны, и все это приукрасили соответствующими эпитетами...

Численность противника определялась цифрой в шестьсот человек, включая женщин и детей, и мы уничтожили всех до единого, не оставив в живых даже младенца, чтобы оплакивать мертвую мать. Это была, бесспорно, самая «великая победа», которой когда-либо добились христианские воины Соединенных Штатов.

Как же отнеслись у нас к этому сообщению? Блестящие события нашли отражение в блестящих заголовках во всех газетах нашего города...

Последний заголовок гласил следующее: *«лейтенант Джонсон снесен с бруствера разорвавшимся снарядом. Он доблестно руководил боем».*

Все телеграфные сообщения полны Джонсоном... Это напомнило мне один из недавних фарсов Джилетта: «Куда ни глянь, всюду Джонсон!». По всей вероятности, Джонсон был с нашей стороны единственным раненым, чьи раны стоило выставлять напоказ.

Джонсон был ранен в плечо осколком. Осколок являлся частью снаряда — в сообщении говорится, что ранение причинено взорвавшимся снарядом, который сбил Джонсона с ног. У туземцев там, в кратере, не было артиллерии, — значит, Джонсон мог быть ранен только выстрелом из нашего орудия. Итак, можно считать историческим фактом, что единственный американский офицер, получивший такое ранение, о котором стоит пошуметь, пострадал от руки своих, но не от руки врага. Мне кажется более чем вероятным вот какое предположение: если бы мы убрали наших солдат подальше от собственной артиллерии, то мы бы вышли из этой самой необычной битвы без единой царапины...

В воскресенье, т. е. вчера, телеграф принес нам новые сообщения, вести еще прекраснее прежних, еще выше возносящие наш флаг. Первые газетные заголовки оглушили читателей информацией:

«Племя «моро» вырезано. Среди убитых есть женщины».

«Вырезано», «резня» — да, это подходящее определение. Лучшего не найти в большом толковом словаре.

Другой заголовок гласил:

«Вместе с детьми они столпились в кратере и умерли все вместе»...

И вот перед нами возникают картины. Мы видим этих малышей. Мы видим лица, искаженные ужасом. Слышим плач. Мы видим, как маленькие ручонки тянутся с мольбой к

матери.

Еще одна газетная «шапка» заверяет о безопасности, в которой находились наши brave солдаты. Там сказано:

«В жестокой битве на вершине горы даже невозможно было отличить мужчин от женщин».

Голые дикари находились так далеко на дне кратера, превращенного в западню, что наши солдаты не смогли... различить ребятишек и взрослых мужчин. Это несомненно была самая безопасная битва из всех, в которых когда-либо участвовали христианские солдаты любой национальности...

Газетные сообщения называют все это «битвой». Что же было здесь похожего на битву? Да ровно ничего... Когда эта, с позволения сказать, битва закончилась, то на поле боя оставалось никак не меньше двухсот раненых туземцев. Что с ними стало? Ведь ни один из них не остался в живых!

Ясно: мы «чисто сработали», прирезали этих беспомощных людей и тем довели до конца начатое дело...

ГОВАРД ФАСТ ПОСЛЕДНЯЯ ГРАНИЦА⁴

Мэррей шел по следу, продвигаясь все глубже и глубже в широкие, выметенные ветрами, бесплодные пространства Дакоты, все время получая сведения о том, что его добыча впереди. Но после того как след раздвоился, та половина шайенского племени, которая укрылась среди песчаных холмов, словно сквозь землю провалилась. Имелись многочисленные доказательства того, что шайены разделились на две партии: канадский француз, охотник за пушниной, шедший в Черные Холмы со связкой капканов, сообщил, что видел шайенов — мужчин, женщин и детей, измученных дальней дорогой, — но не триста человек, а самое большее — сто двадцать или около того. Два разведчика из племени сиу, прикомандированные к гарнизону форта Мид, также донесли, что видели шайенов, и назвали то же число.

Но об остальных, о тех, что ушли в страну песчаных холмов, не было ничего — ни звука, ни следа, ни намека. Необозримые дюны приняли их, укрыли в своем страшном убежище, поглотили их без следа.

Даже Крук, истребитель индейцев, вытравивший их из прерий, не мог достать из-под земли исчезнувших шайенов. Пять эскадронов Третьего кавалерийского полка рыскали к югу от форта Робинсон, блуждая взад и вперед, гоня покрытых корой песка лошадей по отлогим дюнам, укрываясь в тени высоких иссеченных солнцем пригорков; они прострочили следами всю область; возвращались в форт Робинсон, снова выезжали, прочесывали песчаные холмы. Из форта Сидни, одна за другой, уходили колонны на север от реки Платт и узнавали вкус солончаковой пустыни.

«Никаких следов шайенов», — вновь и вновь извещали точки и тире, проносясь по телеграфным проводам. «Никаких следов шайенов»... В достаточной мере однообразный ответ, чтобы охладить в стране жажду крови; и страна начала забывать. Индейцы — не так уж это важно, если только не охотиться на них и если они сами не выходят на охоту. Самый факт их существования не имел ровно никакого значения: тот факт, что они находились в песчаных холмах Небраски, имел не большее значение, чем сами эти песчаные холмы. Пусть их там и остаются.

Канзас подвел итоги и не обнаружил ни единого случая убийства или причинения ущерба кому-либо из граждан шайенами, ни единого случая поджога; было угнано несколько лошадей, несколько голов скота прирезано для пищи — и все.

⁴ Отрывки из глав «Победители и побежденные» и «Свобода». Печатаются с небольшими сокращениями.

Но на отдаленных военных постах о шайенах не забыли. Под неослабевающим нажимом Крука поиски продолжались, и из форта Робинсон отправлялся отряд за отрядом, продолжая тщетное прочесывание дюн и бесплодных прерий.

Один из таких отрядов — эскадрон Третьего кавалерийского полка под командой капитана Джонсона, покинувший форт Робинсон в последних числах октября, медленно шел на юг. В течение двух дней он производил поиски, прорезая территорию во всех направлениях, обследуя каждую долину, каждую расщелину, каждый упавший гнилой ствол, который мог стать укрытием для нескольких человек. На второй день, после полудня, с севера подул холодный ветер, он пригнал клочковатые тучи — грозные вестники первого снега. Капитан Джонсон придержал лошадь, подставил щеку ветру и пожал плечами.

— Поворачиваем, сэр? — спросил лейтенант Аллен.

— Придется, очевидно, — решил капитан.

— По-моему, мы охотимся за призраками, — сказал лейтенант Аллен. — Никаких шайенов здесь не было и нет.

Сержант Лэнси, краснолицый, бородатый, подъехал к ним, держа ладонь против ветра; его дыхание клубилось, он кивал косматой головой. — Будет снег, — сказал он.

— Охота за призраками, — повторил лейтенант Аллен, очень довольный своим сравнением.

— Значит, я кончил купаться. — Сержант Лэнси всегда хвастал тем, что никогда не моется водой после того, как выпадет снег.

Джонсон всматривался во что-то впереди. Лэнси, гарцуя на приплясывающей лошади, с презрением оглядывал кавалеристов, которые горбились в седле, пряча лицо от ветра в поднятые воротники. — Ага! — ухмылялся он. — Это разве зима? Она вам еще покажет. — Вид мерзнувших солдат веселил его. — Отправьте их домой к огоньку, сэр, — сказал он капитану, посмеиваясь про себя.

Но Джонсон все так же смотрел вперед; движением руки он приказал колонне следовать за ним и поехал шагом, пристально вглядываясь вдаль, заслонив ладонью глаза от висевшего над дюнами солнца.

— Что там такое, сэр?

Джонсон не ответил, и колонна продолжала медленно двигаться на залитый солнцем запад. На юге и на западе небо было голубое; на севере и востоке серая окраска, сгущаясь на горизонте, сливалась с землей в одну темную полосу; в этом раздвоении неба была холодная печаль, и зима стремительно неслась на острорежущем лезвии ветра.

Теперь и солдаты увидели то, во что вглядывался Джонсон, но никто не обмолвился ни словом, как будто все, не веря глазам своим, ожидали подтверждения. Видение влекло их к себе, как влечет спящего приснившийся ему невероятный и жуткий образ. Но они не спешили. По мере того как видение вставало перед ними все отчетливее, солдаты даже замедляли шаг, и вскоре весь отряд остановился.

Кто-то спросил: — Что это такое?

То был не вопрос — скорее отзвук мысли, возглас ужаса. Они знали, что это, знали без каких-либо подтверждений; они знали, что их поиски кончены.

Видение появилось с запада, двигаясь им навстречу, медленно, словно умирающее животное, которое тащится в свое логово. Это были мужчины, женщины и дети, почти сто пятьдесят человек, но издали казалось, что это и не люди вовсе, и никто не назвал бы их мужчинами, женщинами или детьми.

При них было около пятидесяти лошадей, но это были не лошади, — да, на четырех ногах, но не лошади на взгляд кавалеристов, которые ежедневно чистили скребницами своих боевых коней. Это были страшные карикатуры на прежних стройных скакунов — кости, обтянутые кожей; а на их спинах сидели существа, некогда бывшие детьми, — груды тряпок, лохмотьев, трепетавших на остром лезвии северного ветра.

Взрослые шли пешком, и раздуваемые ветром отрепья создавали впечатление какого-то кладбищенского веселья. Женщины и мужчины — с ввалившимися глазами, осунувшиеся,

тощие, как пугала в поле. На них были остатки индейской одежды, и солдаты догадывались, что вот это было когда-то охотничьей рубахой или женским платьем из оленьей кожи, это — мокасинами, пестрыми, расшитыми бусами мокасинами, шайенской обувью, не имевшей себе равной в прериях. А рваная тряпка, видимо, была в прошлом фабричным одеялом — в яркокрасную, желтую и зеленую полосу. Чем были прежде эти покрытые корой песка лохмотья, солдаты могли все же угадать.

Но никто не мог бы себе представить, чем были прежде эти люди. Мертвые глаза не выдают своих тайн, а глаза этих людей были мертвы, хотя ноги их передвигались. Черные волосы развевались по ветру — пряди черных волос, похожие на их лохмотья. Многие шли босиком, а на остальных были уже не мокасины, а жалкие отрепья кожи. Они шли медленно, но шли, ибо это было единственное возможное для них движение вперед, и еще они шли потому, что не было им места для отдыха среди песчаной холодной пустыни, откуда путь к спасению был закрыт. Весь их облик был немой повестью о голоде, лишениях, жажде, страданиях, но в этой повести не было похвальбы; и солдаты чувствовали благородную гордость этих потерявших надежду, измученных людей.

Когда индейцы приблизились к коннице, в их рядах произошло легкое движение — они приготовились к защите. Женщины, окружив лошадей, на которых сидели дети, отступили; мужчины вышли вперед и построились полукругом. Держа в руках ружья и револьверы, они стояли против белой конницы с трагическим, но несокрушимым мужеством. Почти неуловимо замедляя движение, они приблизились еще на несколько шагов и остановились.

Лейтенант Аллен сказал: — И за этим-то мы охотились. — Лэнси поежился; это был рослый, здоровый человек, и он не мог без содроганья смотреть на шайенов. Капитан Джонсон, заставляя себя искать подтверждения, в котором уже не нуждался, спросил:

— Это шайены?

Никто не ответил ему; только тоскливое посвистывание ветра нарушало безмолвие; даже лошади, по две в ряд, стояли неподвижно, а у шайенов даже дети не издавали ни звука. Трубач, ехавший в голове колонны, чуть позади сержанта Лэнси, вертел в руках свою круто-изогнутую медную трубу, натирая ее рукавом. Солдаты сидели в седлах, выпрямившись, не замечая холода, не чувствуя ветра, который раньше пронизывал их насквозь.

Джонсону надлежало что-то предпринять — он был командиром; на нем лежала обязанность думать и действовать. Он добился того, что не удалось всей двенадцатитысячной армии прерий: он нашел шайенов, теперь они — его пленники, не способные бежать, не способные сопротивляться. Он пытался внушить себе радость от сознания достигнутого успеха; он пришпорил коня; но награда за успех не приходила, и когда он остановился на полпути между кавалеристами и индейцами, он почувствовал себя таким одиноким, как будто остался наедине с самим собой в этой бескрайней пустыне. Ветер дул в сторону индейцев, — все же солдаты расслышат, что он скажет: всего двадцать ярдов отделяли отряды друг от друга.

— Эй, вы, эй! — крикнул он и, невольно коверкая английскую речь, спросил: — Кто вождь — главный? — Он смотрел на лица шайенов, исхудалые, покрытые коростой песка, на черные, запавшие глаза, окруженные ссохшимся пергаментом кожи. Индейцы не двигались — безразличие, вызов, усталость или оцепенение? Они стояли, наклонившись вперед, с жуткой, призрачной воинственностью.

— Слушайте! — заговорил Джонсон. — Понимать английский? Понимать разговор белого человека?

— Разговор белого человека? — повторил он. — Отвечайте!

Он сделал полуоборот. Сержант Лэнси не сводил с него глаз. Горнист все еще натирал свою трубу. Лейтенант Аллен покачал головой.

— Я поостерегся бы, капитан, — сказал сержант Лэнси. Его лошадь отступила на несколько шагов к рядам кавалеристов. Джонсон соскочил на землю.

— Осторожнее! — крикнул Лэнси.

Аллен тоже спешился; ему хотелось поддержать Джонсона, разделить с ним бремя ужаса и бессилия. Он подошел к капитану, и они, стоя рядом, наблюдали за индейцами. Солнце заходило, маленькое, холодное, в оправе снежных туч, гонимых ледяным ветром, и их черная гряда стремительно затягивала все небо.

— Они не понимают по-английски, — с безнадежностью в голосе сказал Джонсон.

— Нет...

— Может быть, они притворяются, хотя нет никаких сведений о том, чтобы они знали английский язык. Они всегда сидели по своим типам.

— А что, если захватить их? — предложил Аллен.

— Чтобы выстрелить, не нужно много сил. Я не намерен терять солдат в таком деле.

— Казалось бы, они должны понять, какое безумие с их стороны затевать бой.

— Я думаю, что уж большего безумия для них быть не может, — сказал Джонсон. — Когда люди зашли так далеко... — Он пожал плечами и направился к солдатам. Он прошел вдоль колонны, спрашивая, умеет ли кто-нибудь говорить по-шайенски. Кое-кто знал несколько слов на языке сиу, но нашелся только один — молодой парень из Омахи, — который заявил, что немного знает по-шайенски. Немного, очень немного, почти ничего, сказал он; кое-что понимает и может сказать слово-два. Там, в Омахе, был метис, который хвалился тем, что знает пять индейских языков, и обучал любому за стакан виски; однако говорить парень все же не научился. Он заявил Джонсону, что готов попытаться, и они вместе направились к индейцам.

— Сдавайтесь, — сказал Джонсон.

Парень заявил, что точно не знает, как это перевести. Он мог бы, пожалуй, сказать: «стань рабом» или «стань пленником», но не «сдавайся». Он смутно помнил, что на шайенском языке это слово имеет одно значение, когда речь идет о сдаче белого человека, и другое, когда говорится о сдаче индейца, и вообще может приобретать бесчисленные оттенки в зависимости от предмета; очень странный язык. Он знал одного повара-китайца, утверждавшего, что он понимает язык, на котором говорят сиу, хорошо понимает их язык.

Джонсон нетерпеливо передернул плечами. — Пойди попробуй.

Парень с опаской вышел вперед и что-то громко крикнул индейцам. Он шепотом повторил это слово про себя и опять выкрикнул. Ветер подхватил и унес его — архаическое, бессмысленное и смешное в устах белого. Парень потихоньку, бочком, отходил от индейцев.

— Попробуй другое слово, — сказал Джонсон. Он испытывал какое-то неистовое желание разрушить преграду, созданную незнанием языка; разрушить ее немедленно, словно обнаженная, покрытая корой песка кожа индейцев нагоняла зябкую дрожь на него самого и на его людей. Снежная буря надвигалась быстро.

Парень произнес еще несколько слов, и на этот раз они вызвали отклик, — среди индейцев произошло движение. Они заговорили между собой, но солдаты слышали только еле внятный гул, так как ветер относил слова в сторону. Затем гул прекратился, ряды индейцев расступились — и вперед вышел старый, старый, едва державшийся на ногах человек, такой старый и высохший, что самое его присутствие в этом племени бедствий и мук казалось невероятным. Он подошел к парню вплотную, так близко, что тот попятился, и заговорил негромко, медленно и натужно, видимо, напрягая последние силы.

— Что он говорит? — спросил Джонсон.

— Не знаю, — растерянно ответил солдат. — Как будто говорит, чтобы мы ушли, но точно я не знаю.

— Пусть сдаются, объясни им.

— Это он, кажется, понял, — кивнул головой парень. — По-моему, он хочет, чтобы мы ушли и оставили его в покое.

Старец продолжал говорить. Он то указывал на воинов, стоящих позади него, то, через головы кавалеристов, на небо, где нарастала буря, то скорбно качал головой.

— Да, он хочет, чтобы мы оставили его в покое, — уверенно сказал парень, и слабая улыбка удовлетворения скользнула по его веснушчатому лицу. — Он говорит про то, что они

только возвращаются на родину, и больше ничего. А мы чтобы ушли...

— Скажи ему... — Но тут Джонсон понял, что все попытки солдата объяснить что-нибудь шайенам окажутся тщетными; преграда разделяла их, и это было больше, чем преграда слов, — это была целая эра, кусок истории, мучительный разрыв между прошлым и настоящим. Джонсон пожал плечами и велел парню вернуться в строй. На месте переговоров остался один старик, древний и удивительный, озябший, истомленный, потерявший надежду, обремененный всеми печальми долгой жизни, слишком много видевший, слишком много постигший, слишком много страдавший.

— Что вы намерены делать? — неуверенно спросил лейтенант, не столько обращаясь к капитану, сколько сам пытаясь найти ответ, и поглядывая на солдат, на сержанта, на угасающее солнце, на приближающуюся бурю.

— Делать?

Лэнси не выдержал: — Трубач, чтоб тебя, да перестань тереть свой проклятый рожок!

Джонсон мягко сказал: — Сержант Лэнси, поезжайте в форт и объясните положение полковнику Карлтону. Расскажите ему все, как есть. Скажите, я советую прислать два эскадрона и несколько фургонов, чтобы забрать этих бедняг. А пока мы останемся с ними. Может быть, мы уговорим их сдаться.

— И гаубицу, сэр? — подсказал сержант.

— Что?

— Я говорю — гаубицу, сэр?

— Передайте то, что я сказал.

— Он захочет послать гаубицу, сэр. Не сочтите за дерзость, но вы знаете, как он скор на пушки, когда речь идет об индейцах. Сказать, что вам не нужно пушки?

— Скажите то, что я поручил вам сообщить, — пробормотал Джонсон. — Если полковник пожелает послать пушку, это его дело, а не ваше, сержант.

— Слушаю, сэр.

— Ступайте, — кивнул Джонсон.

Сержант ускакал. Аллен, сняв перчатки, дышал на руки. — Холодно, — сказал он.

— Что?

— Становится все холодней, вероятно, выпадет снег. Джонсон рассеянно заметил: — На Востоке всегда теплеет перед снегопадом.

Индейцы уже снова двинулись вперед. Они не делали попыток уйти, напротив, они прошли мимо кавалерии, совсем близко от нее. Мужчины, все еще державшие ружья наизготовку, охватывали редкой цепью женщин и детей, а когда колонна миновала кавалерию, они отступили назад, образуя арьергард. Джонсон смотрел, как они проходят, равняя шаг по старому вождю, который вел их. Затем Джонсон кивнул лейтенанту Аллену, и тот повернул кавалерию и двинул ее вслед шайенам.

Все, что требовалось, — это ехать шагом; даже и так Джонсону то и дело приходилось останавливать отряд. Шайены выбивались из последних сил, борясь с пронизывающим северным ветром; низко сгибаясь под его ледяным дыханьем, они почти не двигались с места.

Перед ними расстилался черный горизонт, откуда тяжелые тучи, словно клубы дыма над фабричным городом, все усиливали свой натиск на голубое небо; за ними, на фоне заката, выступали силуэты людей в синих мундирах, в подбитых овчиной шинелях на сильных сытых лошадях.

Только один раз Джонсон заговорил: — Вот дураки! Вот дураки несчастные...

Немного погодя индейцы разбили лагерь. Около половины мужчин, взяв ружья наизготовку, повернулись лицом к войскам, а остальные занялись приготовлениями к ночлегу. Детей бережно сняли с лошадей, их нежно ласкали, обращались с ними любовно, как обращается нищий с единственным сокровищем, оставшимся у него от лучших времен. Солдаты все это отчетливо видели, ибо индейцы позволяли им приближаться к лагерю на расстояние двенадцати ярдов, прежде чем грозили оружием. Солдаты видели также детей —

тощих, с раздутыми животами, — детей, которые уже не смеялись, не улыбались и не лепетали, даже не плакали, — жуткие гномы, завернутые во все лохмотья, какие только могли снять с себя их полуголые родители.

Воины и скво бродили вокруг лагеря, ища сучьев, сухой травы, хоть чего-нибудь, что могло бы гореть. Они, наконец, собрали немного мусора, который при терпеливых поисках можно найти даже в самой безлюдной пустыне, сложили его кучками и уже в сумерках развели маленькие костры. Видимо, у них не было пищи, так как они ничего не варили над огнем костров и даже не грелись возле них, а, уложив детей как можно ближе к огню, стали стеной вокруг, пытаясь защитить их от северного ветра...

* * *

Проснувшись и лежа в темноте, лейтенант Аллен прислушался, потом встал на ноги, крепко придерживая одеяло на плечах. Было очень темно, так темно, что он не мог разглядеть циферблата часов. Он стал зажигать спички, но порывы ветра задували пламя; наконец, одна спичка разгорелась, и дрожащий огонек осветил стрелки. Было несколько минут третьего.

Пробираясь ощупью мимо спящих солдат, он увидел какую-то смутную тень и спросил:

— Кто там?

— Лейтенант?

Это был Гогарти, один из часовых; он что-то пробормотал насчет холода и ругнул индейцев.

— Где капитан?

Гогарти не знал. Аллен, оступаясь, двинулся дальше, руководствуясь сонным бормотаньем и храпом; наконец, он споткнулся о спящего человека, и тот, недовольно заворчав, проснулся.

— Капитан?

— Что такое? — устало спросил Джонсон.

— Там что-то происходит.

— Почему вы не спите, Аллен?

— Судя по звукам, там роют...

— Бросьте! Чего ради они станут рыть?

— Не знаю.

— Тогда отправляйтесь спать.

— Но все-таки, зачем они роют? — спросил Аллен. Он снова лег и, засыпая, все еще спрашивал себя: «Зачем они роют?»

Заря вошла над беспросветным, словно плотно закупоренным миром. Снег еще не падал, но весь небесный свод был затянут тяжелыми низкими тучами. Джонсон, пробудившись от беспокойного сна, весь окоченевший, промерзший, с удовольствием потянул носом крепкий запах кипящего кофе. На горячих углях готовили завтрак — толстые ломти ветчины, морские сухари, пропитанные салом, и крепкий кофе.

Направляясь к походной кухне, капитан Джонсон взглянул на шайенский лагерь, протер глаза... и понял, что Аллен действительно слышал ночью, как индейцы роют. Это было невероятно, но факт оставался фактом: эти изнуренные, полуживые люди всю ночь возводили кольцо бруствера, рыли укрытие для женщин и детей. Доказательства были налицо: вокруг индейского лагеря лежали груды свежевскопанной земли; но самый факт казался порождением жуткого кошмара.

Кавалеристы, грызя сухари, смотрели на лагерь шайенов во все глаза, как смотрят на сцену. Джонсон обошел его кругом, силясь понять, почему, при столь явной безнадежности их положения, полтораста умирающих от голода дикарей всю ночь рыли траншеи и готовились к бою. Когда он вернулся к Аллену, тот сказал:

— В жизни не видел ничего подобного, сэр.

— Я тоже...

К вечеру прибыл первый отряд из форта Робинсон — эскадрон Третьего кавалерийского полка под командой капитана Уэсселса. С ним были сержант Лэнси и три разведчика-сиу, немного знавших шайенский язык. Капитан Уэсселс сказал Джонсону, что еще до рассвета должны прибыть две гаубицы и три фургона с боеприпасами.

* * *

Уэсселс не был одарен воображением. Когда шел снег, он искал для себя убежища или одевался потеплей, когда бывал голоден — насыщался, но он был неспособен представить себе, что такое холод и голод, когда их испытывали другие. Все, что не касалось лично его, существовало как бы в ином мире; его себялюбие было примитивно и непосредственно; скорее — инстинкт, чем расчет. Он был вполне на месте, когда надлежало выполнить приказ, но необходимость считаться с желаниями и планами других людей повергала его в недоумение и растерянность. Он подводил всех под один шаблон, и его никогда не тревожила праздная мысль о том, что каждый человек чем-то отличается от другого. У него было одно, для военного очень важное, качество: он никогда не сомневался в себе.

Возможно, что он слишком все упрощал; он сказал Джонсону:

— Мы пойдем туда, заберем их, и когда придут фурунны, все будет готово. — Он стоял против Джонсона, слизывая снежинки с усов и выдыхая клубы пара.

— Это будет нелегко, — заметил Джонсон.

— Вы же сами сказали, что они окончательно обессилены.

— У них ружья. Для того, чтобы выпустить пулю, много сил не нужно. Я думаю, что если мы еще некоторое время продержим их в оцеплении, они выйдут сами. Если же мы пойдем туда, это будет стоить нам людей.

— Нельзя воевать, не теряя людей, — деловито сказал Уэсселс. — Если снегопад затянется, трудно будет добираться обратно до форта.

Джонсон пожал плечами. — Я полагаю, что как только они увидят гаубицы, они выйдут.

— Возможно.

— Я возьму одного из ваших разведчиков и поговорю с ними, — сказал Джонсон.

— Никогда вы не сговоритесь с воинами Собаки.

— Я все-таки попробую, — сказал Джонсон.

Он пошел вместе с разведчиком-сиу, по прозвищу Боязливый, который и не думал скрывать своего страха. На ломаном английском языке он объяснил Джонсону, что когда-то шайенов и сиу связывала тесная дружба. И шайены могут убить его именно потому, что он прежде был им другом; Джонсон — враг, и это гораздо безопаснее. Быть врагом — очень просто.

— Говори с ними! — приказал Джонсон. — Слышишь? Говори с ними!

Боязливый шел согнувшись, пряча лицо от ветра и держась поближе к капитану. Когда они оказались в трех-четыре ядах от укрытия, несколько индейцев поднялись и среди них — дряхлый, дряхлый старик. Они качались, как сухая трава, за густой завесой снега.

— Скажи им, что бесполезно сражаться с нами, — начал Джонсон. — Они полностью окружены нашими войсками, и прорваться им невозможно. Если они сдадутся, мы накормим их и доставим в форт, где они будут в тепле и под крышей. А если они станут сражаться, много их воинов умрет.

Разведчик заговорил, нервно прижимая к груди сложенные накрест руки, и его певучая речь слилась с воем ветра и шелестом снежинок. Старик ответил учтиво, мягко — и этот голос, исходивший из умирающего, ссохшегося тела, казался вызовом разуму и здравому смыслу.

— Он говорит — они уже умерли, — перевел сиу. — Они идут домой, домой, идут

далеко... — Где-то за его словами угадывалась поэзия и ритм, вся сложная красота первобытной и музыкальной речи: — Они умерли, идут далеко...

— Да ты, чтоб тебя, объясни им: сюда везут большие пушки, и эти пушки разнесут их в клочья!

— Они умерли, идут далеко, — пожал плечами разведчик-сиу.

* * *

Атаку организовал Уэсселс. Половина эскадрона должна была наступать в пешем строю, но только с одной стороны, чтобы устранить опасность собственного перекрестного огня. Солдаты стояли в глубоком снегу; рукавицы пришлось снять, чтобы вести огонь, и руки их посинели от холода. Уэсселс приложил к губам свисток, и солдаты побежали, согнувшись, скользя по снегу, пытаясь разглядеть индейский лагерь сквозь завесу снежных хлопьев. Снег падал так густо, что они не видели шайенских траншей, но шайены, вероятно, заметили синие фигуры на белой сетке снегопада. Они дали залп, и солдаты с проклятьями, обливаясь кровью, откатились назад, к Уэсселсу.

Они отступили потому, что невозможно лежать в снегу и целиться во врага, которого не видишь. Они отступили, и Уэсселс сознался Джонсону:

— Так не годится. Надо дожидаться орудий.

Он сделал попытку, она не удалась, и Джонсону не за что упрекать его. Для Уэсселса раненые были такой же неотъемлемой принадлежностью армии, как солдатские мундиры. Он невозмутимо уложил поудобнее солдата, у которого было прострелено бедро, помог перевязать сломанную руку другому. Когда несколько солдат поползли обратно и принесли молоденького кавалериста, Джеда Харли, которому пуля попала в голову, Уэсселс лишь молча сделал отметку в своей записной книжке.

— Эта краснокожая сволочь, — хладнокровно сказал он, — продержит нас здесь до утра. — И добавил глубокомысленно: — Они замерзнут.

К полуночи снег перестал падать, но ветер продолжал дуть и наметал большие сугробы. А немного позже прибыли фургоны и две гаубицы. Уэсселс дождался орудий и лег спать лишь после того, как для обеих гаубиц были сделаны площадки, и орудия были установлены и заряжены.

Когда капитан Джонсон утром проснулся, Уэсселс был уже на ногах и отдавал распоряжения артиллеристам. Уэсселс изложил свой план: построить кавалеристов кольцом вокруг индейцев и медленно наступать, пока гаубицы будут бить по лагерю. Солдаты не пойдут в атаку, но будут готовы встретить шайенов, как только снаряды сделают свое дело.

— Лагерь полон женщин и детей, — сказал Джонсон. — Там не больше сорока-пятидесяти мужчин.

— Сами виноваты, — пожал плечами Уэсселс.

— Им нечего есть. Завтра они явятся добровольно.

— Приказ полковника — взять их немедленно.

— Он не знает...

— Про женщин и детей? Знает. Он приказал взять их. Это наиболее безопасный способ. Зачем нам терять еще людей, если можно обойтись без этого? Снаряды заставят их выйти.

Джонсон неохотно согласился.

Кавалеристы заняли позиции, охватив лагерь широким кольцом. Лагерь был тих, — небольшой холм среди заснеженных просторов. Ветер улегся, он дул теперь только изредка, мягкими порывами, завивая струйки снега, которые точно плясали перед ним. Среди шайенов не было приметного движения, только время от времени белая, словно закутанная в полотно, фигура поднималась и, спотыкаясь, переходила на другое место; или кто-нибудь выйдет на несколько шагов вперед, за бруствер, и снова скроется.

Уэсселс подошел к пушкам и в бинокль следил за движением войск. Джонсон остался с кавалеристами. Уэсселс подождал, чтобы все солдаты заняли свои места, потом резко

взмахнул рукой. Одна из гаубиц, откатившись по снегу, изрыгнула дым и пламя. Снаряд взвизгнул и разорвался за лагерем, и земля, смешанная со снегом, раскрылась, как распустившийся цветок под утренним солнцем.

Командовавший батареей лейтенант прокричал поправку. Взревела вторая гаубица, и на этот раз снаряд, описав дугу, упал прямо в середину лагеря; тогда лагерь ожил, фигуры шайенов беспокойно задвигались, и даже на расстоянии чувствовались их обида, боль и смятение.

Уэсселс скомандовал: — Огонь! — и гаубица опять заревела. Теперь в распустившемся цветке взрыва была плоть и кровь и человеческие устремления, рассыпавшиеся прахом.

— Я думаю, этого достаточно, — сказал Уэсселс. Старый, старый вождь вышел первым, подняв руки, утратив в грохоте взрывов свою учтивую непокорность. Войска сжали кольцо, но не слишком плотно. Джонсон и разведчик-сиу Боязливый пошли навстречу старому вождю. Затем появились еще два шайена — высокие, изможденные, полумертвые от голода и холода; трудно было себе представить, какими они были прежде. Они помогли старику пробраться через сугробы и стали рядом с ним, когда он сошелся с Джонсоном. И несмотря на то, что поражение шайенов было полное и окончательное, Джонсон так остро ощутил стойкость их сопротивления, что сказал мягко, почти смиренно:

— Даже храбрые воины вынуждены сдаться, когда ничего другого не остается.

Боязливый перевел, и старый вождь кивнул. Слезы текли по его потрескавшимся от мороза жестким щекам.

— Он говорит — там женщины и дети под снарядом. Капитан Джонсон с трудом проговорил: — Мне очень жаль...

— Они теперь пойдут с вами. Они больше не идут домой.

— Спроси, как его имя, — прошептал Джонсон.

— Тупой Нож. Другой — Старый Ворон, а этот — Дикий Кабан. Великие вожди.

— Великие вожди, — повторил Джонсон, кивнув головой. — Спроси его, где Маленький Волк и все остальное племя?

— Они ушли домой. Племя разделилось на две части: они думали, может быть, одна уйдет от солдат. Одна — по этой дороге, другая — по той. Тупой Нож ушел в пески. Маленький Волк взял молодых — ушел на север... на север... — Он указал рукой на заснеженный север: — Может быть, через границу.

— Канады?

— Может, Канады, может, Паудер-Ривер...

— Скажи ему, — проговорил Джонсон, — чтобы он принес нам ружья, все ружья, и тогда мы их накормим.

* * *

Уэсселс, сосчитав ружья, сказал: — Здесь всего тридцать, и ни одного револьвера.

— Может быть, это все, что у них осталось? — заметил Джонсон.

— Сомневаюсь. У них должны были быть револьверы.

— Индейцы не любят револьверов.

— Все-таки у них должны быть револьверы, хотя бы несколько. Следовало бы обыскать женщин.

— Женщин? — тихо переспросил Джонсон.

— Это же индианки.

Джонсон повернулся к нему спиной и пошел прочь. Уэсселс пожал плечами и уставился на ружья. Будь он один и старшим по команде, он обыскал бы женщин, но при Джонсоне...

Он отказался от своего намерения, велел перенумеровать ружья и упаковать их. Затем направился туда, где шайенов кормили под бдительным надзором вооруженной охраны. Его мало трогал вид измученной, полумертвой от голода и холода темнокожей толпы. Это было

нечто лежащее вне его, из другого мира. Даже их муки были чужды и далеки ему. Если он и замечал детские лица с обтянутыми скулами и огромными глазами, то они не вызывали в нем никаких мыслей: он только констатировал факт — значит, индейские дети такие, — и все.

Когда индейцы кончили есть, он отдал приказ погрузить их в фургоны, — и весь караван двинулся по сугробам к форту Робинсон.

* * *

Приказ из Вашингтона был получен командиром форта Робинсон, капитаном Уэсселсом, в конце декабря. Вследствие пристрастия главного штаба Западной армии к перетасовкам Третий кавалерийский полк был разделен. Полковник Карлтон с большей частью людей был переведен в другое место, и в форте остались только два полных эскадрона и один неполный. Джонсон ушел вместе с Карлтоном, Уэсселс занял пост командира, капитан П. Д. Врум — его помощника. Лейтенант Джордж Бекстер командовал неполным эскадром. Лейтенант Артур Аллеи тоже остался в форте и принял командование эскадром Уэсселса.

Первым чувством Уэсселса после его повышения в должности было глубокое удовлетворение. Исполняющий обязанности командира поста мог надеяться получить полк, а честолюбие было неотъемлемой и органической частью его существа. Хоть он и так весьма редко сомневался в себе, он только и ждал того времени, когда сможет покончить со всякими сомнениями раз и навсегда. Он жил в упорядоченном мире и любил армию за то, что, служа в ней, человек мог внести в мир еще больший порядок. Те редкие случаи, когда он выходил из себя, вызывались преимущественно мелочами: болтающейся пуговицей, следом ржавчины на лезвии сабли, пятнышком на парадном мундире. Из-за отсутствия воображения он брал вещи такими, как они есть, но зато требовал от них совершенства.

Именно по его предложению полковник Карлтон посадил сто сорок девять шайенов в старую пустовавшую казарму — непригодный для жилья бревенчатый барак, где гулял ветер и водились мыши; при длине в шестьдесят футов он отапливался только полуразвалившейся печкой. Это было сделано не со зла, а просто потому, что старое бревенчатое здание оказалось наиболее подходящим и легко охраняемым. Форт Робинсон не был огорожен; он являлся просто скоплением казарм, цейхгаузов и складов, растянувшихся по склону холма над лесистым берегом речки. Его укрепления состояли из нескольких стрелковых укрытий, площадок для пушек и массивного казарменного здания, которое могло служить также в качестве блокауза. Предоставление индейцам хоть какой-нибудь свободы передвижения вызвало бы необходимость в целой цепи караульных, а так — требовался всего лишь один часовой у дверей.

Когда полковник Карлтон с большей частью полка отбыл, а Уэсселс стал командиром поста, тактика капитана по отношению к пленникам не изменилась. Сознательная жестокость была столь же чужда его натуре, как и сознательное сострадание. Индейцы — это индейцы, и он держал их под стражей потому, что в данное время с ними больше нечего было делать. В старой казарме было очень холодно, и старая печь, почти не дававшая тепла, конечно, не могла обогреть длинный темный барак; с наступлением морозов температура упала до нуля, лишь изредка поднимаясь чуть выше и весьма часто опускаясь значительно ниже. Но в форте лишних печей не было; а Уэсселсу и в голову не приходило затребовать дополнительные печи ради того, чтобы улучшить положение каких-то взбунтовавшихся индейцев.

Чужая речь была непреодолимой преградой; шайены страдали молча, как страдает животное, упорно борясь за свою жизнь. На них были все те же лохмотья, но если бы даже они потребовали одежды, Уэсселсу нечего было бы им дать. Не станет же он раздавать военное обмундирование, а что касается покупки, то он не считал себя вправе тратить казенные деньги на то, чтобы одевать индейцев. Продовольствие, которое доставлялось в

фургонах или вьюками из далекой Огаллалы, и так было крайне скудным, и когда солдаты получали урезанный паек, индейцы не получали ничего.

Мертвящее однообразие зимней жизни в форте не располагало к доброте и дружелюбию. Должно быть, Уэсселс переносил зимнюю обстановку легче, чем другие офицеры; он был словно предназначен для нее самой природой; сотня мелких обязанностей: ремонт зданий, обучение солдат, проверка складов, очистка двора от сугробов, тренировка лошадей — все это поглощало его целиком, составляло смысл той жизни, которую он избрал для себя; его тесный упорядоченный мирок полностью укладывался в рамки армейской рутины, дававшей ему содержание и форму, которых иначе он был бы лишен.

Но для других офицеров короткие дни и длинные вечера тянулись с ужасающим однообразием. В форте Робинсон не было ни женского общества, ни музыки, ни книг, ни иных развлечений, кроме все того же грошового покера да нескончаемого виста. Среди рядовых с каждым днем росло мрачное озлобление; среди офицеров то и дело вспыхивали ссоры по самому ничтожному поводу; они впадали в бешенство, в тоску, молчали по целым дням и неделям, и частенько дело доходило до пощечин и даже драки — но у Уэсселса хватало здравого смысла смотреть на это сквозь пальцы. Ему случалось видеть, как в захолустных военных фортах ненависть и злоба разгорались с такой силой, что нередко бывали случаи убийства, а столь вопиющего нарушения порядка во вверенном ему форте он боялся пуще всего.

Он пытался развлечь потерявших душевное равновесие офицеров, посылая их в наряд за дровами, но дальше этого его воображение не шло. За обедом в офицерской столовой он сам говорил так мало, что даже не замечал, каковы разговоры окружающих — веселые или мрачные.

А тем временем индейцы томились в тюрьме, — страшные, умирающие остатки того, что некогда было самым гордым племенем, кочующим по зеленым океанам Америки.

* * *

Приказ из Вашингтона явился желанным развлечением. Он сулил хоть какое-то дело; во всяком случае, можно было наметить план и действовать. Уэсселс возвестил об этом за обедом.

— Они поедут обратно, — сказал он.

— Обратно? — разговоры прекратились, все подняли головы и уставились на капитана.

— Шайены? — догадался кто-то.

— Я так и думал, что их вернут обратно, — заметил Аллен. — Хотя, по-моему, это чорт знает что.

— Не близкий путь, — присвистнул кто-то. Всем им смертельно надоела зима, надоел форт, тоскливая вереница дней; каждый надеялся, что его назначат сопровождать шайенов на Территорию, в страну солнца.

— Кто повезет их и когда?

Уэсселс пожал плечами. Для него это не имело особого значения; лично он, как командир поста, обязан был дотянуть зиму в форте Робинсон, — и с него достаточно. Врум или даже Бекстер с неполным эскадром может доставить индейцев на место. Без них жизнь в форте станет проще.

— На этой неделе, я полагаю, — сказал он.

— Не очень-то им понравится...

— Безусловно...

— Вы не думаете, что они могут взбунтоваться?

— Поедут, — сказал Уэсселс. — Что им остается делать?

Метис Джемс Роулэнд, сын шайенки и белого, узнав о заключении индейцев в тюрьму, пришел на пост, надеясь получить работу в качестве переводчика. Полковник Карлтон нанял его, положив ему пол-оклада и полпайка. Его-то Уэсселс и послал в барак сказать Тупому

Ножу и другим вождям, чтобы они явились к нему на совет. Уэсселс пригласил также Врума и Бекстера, и, в ожидании вождей, они втроем уселись в его кабинете, попыхивая сигарами.

Окно выходило во двор, и за покрытым снегом учебным плацем отчетливо было видно длинное здание барака. Позади него снежная пелена уходила в лесистые холмы, где темнозелеными волнами колыхались низкорослые сосны. Небо было серое и давящее, солнце словно потеряло счет часам. В пустынных просторах Дакоты подымалась метель, и Врум угрюмо сказал:

— Опять снег.

— Похоже, — согласился Уэсселс, рассматривая кончик своей сигары.

— А что, если нас занесет?

Уэсселс пожал плечами. — Я предпочитаю настоящую гаванну, — сказал он, все еще разглядывая сигару.

— Если я поеду на юг, я пришлю хороших сигар.

— Я думал послать Бекстера, — сказал Уэсселс, трогая выросший на сигаре столбик пепла. Врум — полный, румяный блондин — поднялся, подошел к окну и принялся протирать стекло розовой, поросшей рыжеватыми волосками рукой. Протерев стекло дочиста, он сказал Уэсселсу:

— Вон они идут.

Бекстер сказал: — Не близкий путь... — Он был невозмутим, худ и молод; через плечо Врума он вглядывался в снежную даль, как будто пытаясь вызвать в своем воображении тысячу миль заснеженного пространства.

— Их трое, — сказал он. — Не понимаю, в чем только душа держится у этого старика.

— Индейцы не умирают, пока сами не захотят. Уэсселс не проявил особого интереса к индейцам; он только мельком взглянул на троих вождей, шедших по снегу за Роулендом под конвоем двух вооруженных солдат, и снова занялся созерцанием своей сигары.

— Во всяком случае, они не чувствуют холода так, как чувствуем мы, — решил Бекстер. На старом вожде были мокасины, но один из трех индейцев шел босой. — Мрачные животные, — сказал Бекстер.

— Вам надо отправляться поскорей, — сказал Уэсселс. — Если нас занесет, будет нелегко.

Врум отвернулся от окна и, потирая мясистые озябшие руки, подошел к печке. Бекстер пинком ноги распахнул дверцу и подбросил в огонь полено. Уэсселс невозмутимо курил, с наслаждением вдыхая дым сигары. Когда Роуленд постучался, капитан сказал: — Входите, входите, — Бекстер открыл дверь, и Роуленд вошел в кабинет, смущенно теребя меховую шапку. Трое вождей, медленно ступая, следовали за ним; они пожимались от тепла, глаза их слезились, головы были слегка наклонены. Старик шел немного впереди двух остальных, придерживая стиснутыми руками обрывок одеяла, накинутого на плечи. Его спутники, иссохшие, худые, как мощи, не сводили глаз со старика.

Конвойные остались за дверью.

Уэсселс сидел в старой качалке, положив ногу на ногу, голубой дым его сигары заволакивал комнату. Когда вожди вошли, он кивнул на печь и сказал: — Подойдите, погрейтесь. — Потом обратился к Роуленду: — Скажи им, пусть погреваются.

Индейцы были давно немты и тяготились сознанием своей неопрятности, испытывая острое отвращение к грязи, свойственное чистоплотному народу. Они пытались сохранить гордую осанку, невзирая на лохмотья, и гордость не позволила им погреться у печки. Они остались стоять посреди комнаты, переступая с ноги на ногу.

Уэсселс встал и предложил им сигары, но они отказались. Он сказал: — Это совет, итак, подадим друг другу руки. Подадим руки всем подряд. Верно?

Роуленд перевел, и старик, глаза которого все еще слезились, шаткой поступью обошел троих офицеров и пожал им руки. Другие индейцы не шевельнулись. Они не сводили глаз со старика, глядя на него с состраданием и скорбью. На них не было одеял, и высокие, исхудалые тела их были едва прикрыты остатками рубаш и штанов из оленьей кожи.

Уэсселс снова опустил в качалку и опять глубокомысленно принялся за сигару. Вожди ждали. Уэсселс качнулся назад и устремил взгляд в потолок. Он не знал, с чего начать; несмотря на то, что он не отличался чувствительностью, вожди произвели на него впечатление. Он вспомнил былые дни в прериях, когда он видел шайенов во всем их блеске, на украшенных перьями конях и с перьями на голове, на щитах и копьях, вспомнил их жизнь, полную сверкающих красок и первобытной гордости. Разумеется, он не сожалел о прошлом, но ему трудно было сразу согласовать то, что он видел сейчас, со своими воспоминаниями. Все так же глядя в потолок, он сказал:

— Мы будем теперь друзьями... Мы все будем друзьями. — Это прозвучало бессмысленно даже в его собственных ушах. — Мы будем друзьями, — повторил он и подождал, чтобы Роуленд перевел.

Старый вождь что-то печально ответил, и Роуленд сказал:

— Дружба — это то, чего он хочет, он очень стар. Посмотрите на него, и вы увидите, почему. Он стар и хочет жить в мире — и больше ничего. Он говорит, что увел свой народ не для того, чтобы воевать с белыми людьми, но только, чтобы возвратиться домой и жить в мире.

— Да... — протянул Уэсселс, взглянув на Бекстера, который курил с вызывающим видом, кичась своей молодостью, здоровьем и цветом кожи, и на Врума, сосредоточенно рассматривавшего свои широкие красные ладони.

— Да, — сказал Уэсселс. — Мы пожали друг другу руки. Мы держим совет, мы друзья. — Даже через переводчика он старался говорить так, как считал нужным разговаривать с индейцами.

— Скажи ему, что мы сейчас держим совет... — Сосновые доски закопченного потолка рассохлись и покоробились; им не дали высохнуть. Уэсселс подумал, что свежий тес хорошо держится на деревянных шипах, но если прошить гвоздями, непременно будет коробиться. — Скажи ему, — начал он...

Он повернулся и заговорил, обращаясь прямо к вождям. — Все, что произошло, было плохо и для вас и для ваших скво и детей. Теперь вы видите, что кончаются побегі. Существует закон, и вы должны подчиняться закону. Закон приходит из Вашингтона, где живет Великий Белый Отец. Он президент, он говорит, и что он говорит — то закон. Вы должны подчиняться закону. Теперь он говорит, что вы должны вернуться туда, откуда убежали. Вы должны вернуться на Индейскую Территорию и мирно жить в своей резервации. Мы доставим вас обратно в фургонах, солдаты будут охранять вас, и мы будем кормить вас в дороге. Мы не арестуем никого, но, когда вы прибудете на Территорию, агент арестует тех из вас, кто совершил преступление, и будет судить их по всей справедливости. Вруму не понравился конец речи, и он предостерегающе взглянул на Уэсселса, но Уэсселс не понимал тонкостей; он изложил суть дела, как она ему представлялась, и притом людям, у которых не было выбора. Попыхивая сигарой, он прислушивался к плавной шайенской речи Роуленда. Ему даже не приходило в голову, что это человеческий язык, и слова индейцев ничуть не интересовали его. Они вызывали в нем столь же мало любопытства, как собачий лай. Чужая речь вообще почему-то злила его, а язык шайенов тем паче, ибо это был исконный язык его родины, а в глубине души он всегда считал индейцев пришельцами, чужаками, явившимися откуда-то извне.

— Они опечалены, — сказал Роуленд коротко.

— Это неважно, скажи, что они говорят.

— Если даже их только хотят вернуть обратно, — перевел Роуленд, нервно комкая меховую шапку, — это было бы жестоко, ведь они в лохмотьях. Старик говорит, — как они могут ехать так далеко, когда у них нет одежды, одни лохмотья? Старик говорит, что дети замерзнут.

Уэсселс пожал плечами.

— Что их ждет на юге? — продолжал Роуленд, морщась от усилий подобрать английские слова. Ему хотелось угодить офицерам с белой кожей, но в душе его теснились

воспоминания: язык, на котором говорила его мать, ее родичи, приезжавшие навестить ее на своих жилистых лошадях, — рослые веселые воины, дарившие ему сласти, купленные в лавке; он смутно чувствовал свое кровное родство с чем-то, о чем он хотел бы забыть навсегда. Он был белый; его звали Роуленд, а не Большой Медведь, или Восходящий Месяц, или еще как-нибудь в этом роде.

— На юге, — продолжал он, — голод и лихорадка погубят их. Они боятся, — их осталось слишком мало. А они хотят, чтобы племя не угасло.

— Они должны вернуться, — заявил Уэсселс.

Старик беспомощно посмотрел на Уэсселса. От Роуленда было мало пользы; его перевод оставлял непроходимую пропасть, и перекинуть мост через нее было невозможно. Старик безуспешно пытался нащупать какой-нибудь путь и, наконец, прибег к помощи своих товарищей. Они поговорили между собой вполголоса, и самый высокий из них ласково погладил старика по плечу. Глаза старика снова наполнились слезами. В его словах, обращенных к Роуленду, звучало горестное недоумение.

— Мы должны умереть? Президент этого хочет? Патетические слова старика, трагический тон всей этой сцены, казавшейся Уэсселсу дешевой мелодрамой, обозлили его. Он вскочил и быстро зашагал по комнате. Потом сказал, подчеркивая каждое слово короткими взмахами сигары:

— Они должны вернуться, вот и все. Заставь их понять это.

И Роуленд попытался заставить их понять. Он начал что-то говорить им, а три офицера слушали; потом он повернулся к ним и покачал головой.

— Они не поедут обратно.

— Еще как поедут! Скажи им...

— Это бесполезно, — настаивал Роуленд. — Их родная земля всего в нескольких сотнях миль отсюда. Если им нельзя добраться до нее, они умрут здесь. Они говорят, что уже давно мертвы; они говорят, что человек мертв, если у него отняли родной дом, если его сделали рабом в тюрьме. Они говорят, что это хорошо с вашей стороны — держать с ними совет, но, если президент хочет, чтобы они умерли, они лучше умрут здесь.

— Они поедут обратно, — упрямо повторил Уэсселс. — Через несколько дней все будет готово, и они поедут обратно.

Еще слова, английские и шайенские, которые Роуленд переводил с недоумением ребенка, отгадывающего трудную загадку. Разговор, возвращаясь все к той же исходной точке, становился бесцельным. За пропастью веков трое индейских вождей казались смутными тенями.

Уэсселс снова уселся в качалку. Он сказал Роуленду, при каждом слове стряхивая пепел с сигары: — Скажи им, что приказ — это приказ, и закон — это закон, и тому, и другому надо подчиняться. Если они решат мирно возвратиться на юг, все будет хорошо, и мы снова станем Друзьями. А до тех пор они не получают ни воды, ни пищи.

Роуленд перевел заявление Уэсселса. Трое вождей выслушали приговор бесстрастно и серьезно.

— Увести их в барак, — кивнул головой Уэсселс. Когда индейцы ушли, Бекстер сказал: — Я бы еще попробовал повлиять на них, капитан.

Уэсселс покачал головой: — Нужно внушить им уважение. Тысяча миль — это большое расстояние.

— С этим я согласен, — кивнул Врум. — Однако уморить их голодом — дело нешуточное.

— Долго голодать они не будут. Сдадутся.

— Если такое дело выплывет, подыметесь страшный шум.

— Почему?

— Уморить голодом?.. Ну, не знаю. По-моему, может подняться шум.

— Я получил точный приказ, — сказал Уэсселс.

— Как это может выплыть? — пожал плечами Бекстер. — Кролик и тот не выскочит из

этой проклятой дыры.

* * *

Медленно прошел день, другой — и эта осада черной тучей нависла над гарнизоном форта Робинсон. Первый день прошел тихо, неслышно; весть о решении Уэсселса быстро распространилась среди солдат, и весь день взоры их то и дело обращались к старому бараку. Караул у дверей был усилен, а вокруг здания расставлена частая цепь часовых. Таким образом, район обхода каждого часового захватывал район обхода следящего — мера, едва ли когда-нибудь применявшаяся в фортах.

Гарнизон по-разному относился к происходящему; значительная часть солдат проявляла полное равнодушие. Не вдаваясь в сложный анализ побуждений или целей, они придерживались простого принципа, что только мертвый индеец — хороший индеец; их больше возмущали сами шайены, чем меры, применяемые начальством для того, чтобы сломить их. Но было немало и таких, которые говорили, что морить людей голодом — подло и гнусно, кто бы они ни были, хотя бы даже индейцы. Женатые вспоминали собственных жен и детей и решали про себя, что люди с темной кожей, вероятно, тоже чувствуют муки голода и жажды. И те и другие настроения усугублялись мертвящим однообразием гарнизонной жизни, и длинный бревенчатый барак стал для солдат бельмом на глазу. Они кляли его, поглядывали на него с ненавистью, старались не замечать; они сделались раздражительны, неразговорчивы, то и дело бранились между собой, и драки разгорались по малейшему поводу.

Двое рядовых, Джемс Лиоби и Фред Грин, подравшись, пустили в ход ножи, и Грин остался лежать на снегу, харкая кровью. Энгус Маккэл ударил сержанта и был посажен на гауптвахту в кандалах. Это были явные взрывы ярости, а за ними таилось постоянное угрюмое недовольство. Но Уэсселс в ответ на все это только крепче зажимал тиски дисциплины. Старшие сержанты в гарнизонах прерий — и без того люди крутые, а теперь они просто осатанели. Обычно довольно добродушный сержант Лэнси молотил своими огромными кулачищами при малейшем поводе, а сержант О'Тул ежеминутно хватался за револьвер. По приказу Уэсселса в полковой лавке перестали отпускать спиртные напитки солдатам гарнизона, и это еще ухудшило дело.

На второй день среди индейцев начали замечаться признаки жажды. Заключение соскребали с подоконников все крупички снега, потом открыли дверь и сгребли весь затоптанный снег, до которого могли дотянуться. Штыки часовых не давали никому ступить хотя бы шаг за порог. Из барака стало нести покойницей.

Уэсселс оставался непреклонен и при этом считал, что действует весьма умеренно. Ведь индейцы были постоянным источником неприятностей в форте, однако он не питал к ним ненависти. Три раза в день он посылал в барак Роуланда, чтобы тот поговорил с заключенными и доказал им ошибочность их поведения. В первый день у индейцев еще было чем топить печку, но на второй Уэсселс приказал больше не давать топлива. Он не признавал полумер.

На второй день Роулэнд попросил не посылать его больше в барак. — Там худо, — пояснил он. — Там как в аду...

— Трусишь? — спросил Уэсселс.

— Нет, только они стали отчаянные, господин капитан. Они как сумасшедшие, и мне кажется, у них есть оружие.

— Ты сам сумасшедший, — сказал Уэсселс. — Откуда у них может быть оружие?

— Не знаю, — может быть, они разобрали несколько карабинов, и женщины спрятали их на себе перед тем, как сдать вам в плен. Может быть, женщины припрятали и револьверы. У них, по крайней мере, пять ружей, вот что я думаю.

— Ты сумасшедший, — повторил Уэсселс. — Сумасшедший и трус.

— Ну хорошо, я пойду туда, — нехотя согласился Роулэнд. — Пойду. Но там сущий ад.

Они не сдадутся и не поедут обратно. Они умрут здесь, вот увидите.

Лейтенант Аллен просил Уэсселса сделать что-нибудь для шайенских детей. — Малыши, — сказал он, — уже умирали с голоду, когда мы их привезли сюда. Я не критикую ваших мероприятий, капитан. Вы здесь начальник, и ваше дело решать.

— Я готов накормить всех, — сказал Уэсселс, — это зависит только от них.

— Что может зависеть от детей?

— Индейцы... — начал Уэсселс.

— Бог ты мой, сэр, индейцы — тоже люди! Нельзя морить голодом маленьких детей и оправдывать это тем, что они индейцы.

— Я попрошу вас, лейтенант, не соваться не в свое дело, — сказал Уэсселс. Однако мысль о детях, на которую его навели, обеспокоила капитана, и он заявил Роуленду, что детям разрешается покинуть барак. — Скажи им, пусть пришлют детей, — сказал он. — Мы накормим их и присмотрим за ними.

Но Роуленд вышел из барака бледный и, покачав головой, повторил, что там сущий ад.

— Они не хотят выпустить детей?

— Они говорят, что умрут все вместе. Они просто сидят и смотрят на меня. А там такой холод, такой холод! Они сидят все в куче, жмутся друг к другу, чтобы было потеплее, и смотрят на меня.

Термометр показывал шесть градусов ниже нуля.

— Завтра они сдадутся, — сказал Уэсселс.

Но на другой день шайены начали петь свои предсмертные песни. Уже и тогда было неладно, когда длинный мрачный барак стоял молчаливой могилой, зловещим тихим склепом, укрывающим душу и тело людей. Теперь оттуда неслись скорбные причитания, и холодный ветер разносил их по всему форту. У индейцев была флейта, и, время от времени, ее заунывные звуки вторили протяжным песням. Это был первобытный реквием обреченного на истребление народа.

Все это удручающе действовало на гарнизон. Кавалеристы далеко обходили барак, даже избегали смотреть на него. Каждая улыбка, кривившая лица солдат, стала мучительной гримасой; никто не смеялся. И что было еще более тревожным признаком — они почти перестали драться. Они были угрюмы, злы, молчаливы, и какой-то смутный страх вкрался в их жизнь. Все насторожились, чего-то ждали, нервничали.

Даже Уэсселс начал понимать, что достаточно искры, и в этом глухом, уединенном гарнизоне начнется анархия.

В офицерской столовой разговор то и дело обрывался. Один спросит что-нибудь, другой ответит — или не ответит, и вопрос повисал в воздухе среди напряженной тишины; офицеры снова прислушивались.

Потом опять принимались за еду, и, наконец, кто-нибудь говорил:

— Долго они будут там завывать?

— Долго ли?

И другой отвечал:

— Они поют предсмертные песни только, когда знают, что умрут.

— А ну вас, молчите!

И все-таки они прислушивались, и вымученные разговоры звучали пусто, бессмысленно.

— Будет снег...

— Похоже, что будет...

— Ветер с севера...

— Как сказать. По-моему, для снега слишком холодно.

— Это еще неизвестно. Я видел, как снег шел и при более сильном морозе.

— Холоднее, чем сейчас, здесь почти не бывает.

— Как бы не так!

Даже бесчувственные нервы Уэсселса, и те начали сдавать; до сих пор он был центром для всего форта, его твердым, хотя и бездарным руководителем; теперь он обнаруживал признаки смущения и растерянности. После двух дней похоронного пения Уэсселс не выдержал и решил так или иначе покончить с этим делом. Он разыскал Роулэнда и заявил ему:

— Ты опять пойдешь туда, понял?

Метис отрицательно покачал головой.

— Ты пойдешь, хотя бы мне пришлось загнать тебя туда пинками.

— Я оттуда не выйду живым, — пробормотал Роулэнд.

— А ну тебя к чорту, ничего с тобой не случится! Ты получаешь армейское жалование, армейский паек и неделями лодырничаете. Ты пойдешь туда сейчас же и уговоришь вождей прийти с тобой на совет.

— У них ружья, — возразил Роулэнд.

— А хоть бы и пушки — знать ничего не хочу! Ты пойдешь туда и приведешь вождей.

В конце концов, Роулэнд отправился в барак. Впоследствии Уэсселс узнал, что увидел там переводчик: умирающих людей, сбившихся в кучу на ледяном полу, посмертные маски вместо лиц, детей со вздутыми животами и высохшими конечностями, женщин, чьи округлые тела съезжились и обвисли как мешки с костями, стариков, юношей, жен, матерей и отцов, сестер и братьев — и все они ждали смерти в невыразимых муках холода, — поруганное угасающее племя некогда гордого и счастливого народа.

Роулэнд вышел из барака с тремя вождями, на этот раз без Тупого Ножа; кроме тех, которые в прошлое свидание сопровождали старого вождя, был еще один. Роулэнд, ухмыляясь, несмотря на пережитый им в бараке ужас, перечислил их Уэсселсу: — Дикая Кабан, Старый Ворон, Сильная Левая Рука — великие вожди с глупыми именами, — во всем мире нет таких глупых имен, как у индейцев, но все-таки великие вожди.

— Они не дали Тупому Ножу выйти, — продолжал Роулэнд. — Он глава племени, он как отец у них. Они удержали его в бараке потому, что хотят глядеть на него, когда будут умирать.

— Ты им сказал про совет?

Роулэнд пожал плечами. — Они уверены, что эти вожди уже не вернуться. Они со всеми обнялись и простились. Они так теперь думают.

Уэсселс принял вождей в своем кабинете, сидя в старой качалке, попыхивая сигарой и стараясь придать своему лицу и голосу выражение беспристрастной справедливости. Три жутких дрожащих призрака стояли перед ним, все еще, несмотря на лохмотья, сохраняя гордую осанку, но для трезвого ума это были только жалкие тени. Тут же был и Врум с двумя кавалеристами. Врум нюхал носовой платок, намоченный в анисе.

Уэсселс, сразу приступая к делу, сказал: — Вот видите, к чему привело ваше упрямство. Теперь вы узнали, что подчиняться закону очень хорошо. В моем сердце нет ненависти. Возвращайтесь к вашим людям и скажите им, чтобы они вышли и готовились к отъезду на юг. Тогда я накормлю их.

Ужас и изумление прозвучали в голосе Роулэнда, когда он перевел ответ: — Они никогда не поедут на юг. Вы можете убить их, вот и все... — Метис словно пытался проникнуть в душу своих предков и разгадать тайну безрассудной верности тому, что белые называют свободой.

Стиснув зубами сигару, Уэсселс проговорил ровным голосом, обращаясь к кавалеристам: — Заковать их в кандалы.

Шайены не пошевелились, они не поняли слов капитана и глядели на него без надежды, без любопытства, и лица их не выражали ничего, кроме древней, суровой гордости.

Солдаты шагнули назад и, подняв ружья, навели дула на вождей. Роулэнд отпрянул в сторону, Врум расстегнул кобуру.

— Скажи им, что они арестованы, — резко сказал Уэсселс.

Роуленд начал говорить, но вожди уже поняли, что происходит. Один из них, великан с длинным шрамом через все лицо, выхватил из-под лохмотьев нож. Другой бросился на одного из кавалеристов, но тот, подняв карабин, оглушил его ударом по голове. В тот же миг великан с ножом, испустив боевой клич на своем языке, прыгнул на второго кавалериста. Солдат отступил, не решаясь стрелять в клубок переплетенных тел, мечущихся по комнате. Он стал отбиваться от ножа рукой и получил несколько глубоких ран; но тут Врум очутился позади индейца и стал молотить его по голове длинным стволом своего кольта. Уэсселс выхватил револьвер, навел его было на третьего вождя, но между ними был Врум и кавалеристы. Когда индеец, которого бил Врум, упал с разбитой головой, обливаясь кровью, Уэсселс, улучив минуту, выстрелил в другого вождя.

Выстрел, видимо, никого не задел; он громко отдался в кабинете и разбудил весь пост. Врум повернулся было к третьему вождю, но тот отшвырнул его и с нечеловеческим проворством, метнувшись к окну, выбил его и выскочил наружу, увлекая за собой стекла и раму. Он несколько раз перевернулся в снегу, вскочил на ноги и, пригнувшись, побежал к бараку. Уэсселс, загородив собой выбитое окно, разрядил ему вслед весь барабан револьвера, но расстояние было слишком велико, а индеец пригибался к земле и ловко увертывался.

Когда кавалеристы подбежали к окну с карабинами, индеец уже укрылся в бараке, проскочив в открытую дверь мимо часового, который тщетно попытался преградить ему путь.

Теперь проснулся весь пост, со всех сторон сбегались кавалеристы. Врум вышел, чтобы успокоить их, а Уэсселс приказал надеть наручники на оглушенного вождя. Индеец со шрамом уже начал приходить в себя. Он потянулся было к ножу, но Уэсселс оттолкнул нож пинком и наклонился над индейцем, наведя на него револьвер, пока на другого надевали наручники. Раненый солдат, поддерживая окровавленную руку, поплелся в лазарет.

* * *

Перед Уэсселсом словно выросла стена — она бесконечно тянулась в обе стороны, уходила ввысь, неотступно стояла перед ним, глухая, гнетущая. Не исчезла она и вечером за обедом; он видел ее в глазах офицеров, хотя они избегали встречаться с ним взглядом, в том, как они ели, медленно пережевывая каждый кусок, уставившись в тарелку, как пили воду и кофе с затаенным ужасом и удивлением, словно впервые узнали, что это значит — ощущать под зубами податливую пищу, увлажнять нежную оболочку гортани.

Ели мало, без аппетита. Куски оставались на тарелках; их унесут на кухню и выбросят вон.

— Они прекратили свое вытье, — сказал кто-то.

И тогда все прислушались. Врум закурил сигару. Кто-то начал рассказывать анекдот, с трудом добрался до конца снова воцарилось гнетущее молчание.

Но никто, по-видимому, не собирался встать из-за стола.

Бекстер сказал: — Они забаррикадировались в бараке. Дженкинс пробовал открыть дверь.

Уэсселс кивнул.

Никто не осмеливался предложить, чтобы индейцев накормили. Для Уэсселса отмена собственного приказа означала бы полное крушение чего-то основного в нем самом, чего-то, что давало смысл его жизни. А для остальных, за спиной Уэсселса, высилась бездушная громада — «приказ из Вашингтона».

Аллен мрачно заметил: — Кажется, у них есть ружья. Роуленд уверяет, что есть.

«Если бы Джонсон дал мне обыскать их скво в самом начале...» — подумал Уэсселс.

— У них не может быть много ружей, — сказал он вслух.

Одна мысль мелькнула у всех: через день-два они начнут умирать. Какая разница, есть у них ружья или нет.

— Метис соврал.

— Он был слишком испуган, чтобы врать.

Кто-то предложил сыграть в покер. Врум, без особого рвения, стал собирать партнеров для виста. Кто-то пошел к дверям, открыл их и посмотрел на градусник. Ртуть упала до четырех ниже нуля.

— Холодно...

Врум все еще вяло искал партнеров для виста.

— Завтра мы войдем в барак, — сказал Уэсселс без всякой уверенности.

— Четыре ниже нуля, — зачем-то повторил чей-то голос.

— Как Лестер? — спросил Аллен о кавалеристе, который был ранен в руку.

— Ничего, хотя раны и глубокие. Он скоро поправится, если не будет нагноения.

Побродив по комнате, офицеры снова собрались вокруг стола. Врум бросил искать партнеров для виста. Они молча сидели за столом и смотрели, как вестовой сметает крошки со скатерти.

* * *

Полная луна вошла во всем блеске своей белизны. Внезапный мороз рассеял облака, и опрокинутая черная чаша небес была усыпана тысячами звезд. В девять часов вечера можно было сидеть посреди учебного плаца и читать газету, не напрягая зрения, — так ярок был лунный свет, отражаемый снегом. Кольцо холмов и темных, опущенных снегом сосен еще сильнее оттеняло освещенный круг, и постройки форта казались беспорядочной грудой глыб, сброшенных на залитую светом арену.

Койот, опутанный сетью разнообразных запахов — запаха пищи, лошадей, давно знакомого запаха индейцев, застрявшего где-то в извилинах его маленького мозга, — сел на свой хвост и жалобно завыл на сияющую луну. Он выл до тех пор, пока повар не выпустил двух волкодавов и те не загнали койота обратно в темный сосновый бор.

Лошади, окутанные паром своего дыхания, тревожно ржали в длинных холодных конюшнях.

Часовые, которых было множество, — часовые в цепи вокруг барака, часовые у дверей, у конюшен, — и другие солдаты, чьи обязанности вынуждали их быть на холоде, двигались быстро и беспокойно, оставляя за собой длинные струйки теплого дыхания.

Маркитант рано запер свою лавку и пытался развлечь себя чтением омахской газеты.

Рядовые в казармах играли в карты, метали кости, читали грошовые романы, начищали пуговицы и пряжки, а многие, невзирая на ранний час, от нечего делать легли спать.

Сержант Лэнси мучился зубной болью, щека у него раздулась, глаза покраснели. Он не спал две ночи.

Капитан Уэсселс курил сигару и смотрел, как несколько офицеров вяло играют в покер по маленькой. В форте нехватало мелких денег, и фишками им служили личные знаки. Целая груда голубых блях лежала перед Врумом, который не пропускал ни одной сдачи и в каждую вторую сдачу выигрывал. Лейтенант Аллен писал письмо матери, старательно отдавая ей отчет в каждом часе каждых суток, — привычка, которой он не изменял с тех самых пор, как уехал в военную академию.

Письмо было подробное, интимное, изобиловавшее тысячью пустяков, столь важных для матерей: он носит теплое белье, две пары носков — бумажные под низ, шерстяные сверху; да, холодно, конечно, но холод здесь не чувствуется, как на Востоке; это сухой холод, очень полезный для здоровья; он подчеркнул «полезный для здоровья» и улыбнулся — впервые за последние дни. Ждали снега, но сегодня вечер очень ясный, с великолепной полной луной, и, видимо, полнолуние выманило койотов из лесу. Нет, койот совсем не то, что волк, и ничуть не опасен; это маленькое животное, не крупнее лисицы, и ни на что не годное, разве только воровать да опрокидывать ведра с мусором. Похож на мохнатую собачонку. Насчет индейцев пусть она не беспокоится, война в прериях окончилась навсегда,

и он говорил с капитаном Врумом относительно анисовой настойки, капитан согласен с ней и тоже очень верит в это средство. Но он лично сомневается, чтобы анис помогал при простуде. Впрочем, здесь трудно простудиться — воздух такой сухой...

Повар замесил тесто на завтра и поставил его в деревянных кадках поближе к печке, накрыв влажным холстом. Он и вестовой капитана Уэсселса рассуждали о французах; ни тот, ни другой не любили их, хотя ни тот, ни другой не знал ни одного француза. А перешли они на французов с поваров-китайцев; поваров-китайцев знавали оба.

Часовые, охранявшие барак, превращенный в тюрьму, проклинали холод и гадали, поднимается ртуть в градуснике или падает. Один утверждал, что сейчас, по меньшей мере, десять градусов. Другой говорил, что когда больше пяти градусов мороза, человек уже не чувствует разницу температуры. Что пять градусов ниже нуля, что тридцать, — уверял он, — все едино; у него была своя теория человеческих ощущений, и он утверждал, что человеческие чувства воспринимают только определенные колебания температуры, — приемлемой температуры, конечно, а не такого мерзкого, возмутительного холода. С последним пунктом все согласились.

Вот как было в форте Робинсон около девяти часов вечера.

* * *

В десять часов один из часовых, обходивших барак, где содержались индейцы, услышал какой-то странный звук. Потом он говорил, что это походило на щелканье взводимого курка. Вечер был очень тих, и малейший звук далеко разносился в чистом, морозном воздухе. Часовой, которого звали Питер Джефисон, остановился и подождал своего товарища. Они с минуту постояли рядом, как раз против одного из окон.

Ставни защищали окна барака не снаружи, а изнутри, так что их можно было закрывать не выходя из здания — явление обычное в прериях, особенно на границе Запада, где дома строились с таким расчетом, чтобы они в случае нужды послужили крепостью. После того как Сильная Левая Рука бежал из кабинета Уэсселса и укрылся в бараке, индейцы заперли дверь на засов, закрыли все ставни и с тех пор не открывали их.

Постояв, Джефисон и его товарищ, Люк Парди, подошли поближе к бараку и прислушались. Еще несколько часовых остановились, поглядывая на них. Джефисону показалось, что снова щелкнул курок; кроме того, из-за бревен доносилось хриплое дыхание, словно там сбилось в кучу множество людей. Люк Парди просунул приклад карабина в разбитое стекло и надавил на ставень. Ставень немного подался, как будто он не был закрыт на засов, а его только крепко придерживали изнутри.

Джефисону это не понравилось; он так и сказал Люку. — Там происходит какая-то чертовщина, — заметил он. Люк продолжал нажимать карабином на закрытый ставень. Другой патрульный с угла барака прервал свой обход и подошел к ним. Двое часовых у входа следили за Парди и Джефисоном, повернувшись к двери спиной.

То, что произошло вслед за этим, совершилось с такой быстротой, что после никто не мог рассказать об этом связно и толково. Как обнаружилось впоследствии, шайены под каждым окном соорудили ступеньки из положенных друг на друга седел, старых бизоньих шкур и узлов. И вот, дверь и все ставни внезапно распахнулись; окна и рамы вылетели вместе со стеклами, и отовсюду на снег посыпались индейцы; впереди — мужчины, прыгая из окон с непостижимой стремительностью, за ними женщины и дети карабкаясь с помощью мужчин через подоконники, скатываясь кубарем на землю. По меньшей мере первые десять индейцев были вооружены ружьями и пистолетами; другие держали в руках самодельное оружие, какое только можно было добыть в бараке: ножки от железной печи, выломанные половицы, поленья, камни, вырытые из мерзлой земли под полом; у многих были ножи, которые женщинам удалось спрятать перед сдачей в плен.

Парди был убит наповал; он хотел выстрелить, но ему в упор грянул пистолетный выстрел, и он упал на снег под самым окном. Джефисон, убивший первым выстрелом одного

индейца, был отброшен в сторону, и прислонившись спиной к стене барака, продолжал стрелять. Из остальных часовых никто не был убит; они либо отскочили в сторону, либо были сбиты с ног волной бегущих индейцев.

Шайены, выскочив из барака, бежали по белому учебному плацу со всей быстротой, на какую были еще способны; взрослые тащили на себе самых маленьких детей и стариков, которые не могли бежать. Инстинктивно они устремились под гору, ища укрытия и воды на лесистом берегу речки.

Первые же выстрелы разбудили форт. Уэсселс, только что расстегнувший пуговицы мундира, чтобы раздеться и лечь, схватил револьвер и выбежал на плац. Игра в покер все еще продолжалась; офицеры вскочили и бросились к дверям, рассыпав по полу голубые фишки. В казармах половина людей уже спала; они выскакивали в одном белье, задерживаясь лишь для того, чтобы схватить карабин и горсть патронов; остальные, более или менее одетые, бежали по снегу.

Перед ними, словно театральная декорация, расстилался искрящийся в лунном свете снежный покров, прочерченный пунктиром бегущих шайенов. Для солдат, для офицеров это был час избавления, желанного избавления от гнетущего присутствия индейцев, от страшного призрака нечестивого народа, который так безрассудно и непостижимо дорожил тем, что он называл своей свободой.

Они открыли стрельбу, и их ярость, их чувство избавления, перешедшее в нечеловеческую ярость, делали их холодными, как мертвенно-белый свет луны. Они стояли на плацу и стреляли, словно это был тир и они стреляли по глиняным голубям. Они стреляли до тех пор, пока ладони окоченевших рук не покрылись ожогами от раскаленных стволов карабинов. А индейцы — черные точки на белом снегу — падали, валялись друг на друга или оседали, как груда мешков, катились по земле, рассыпаясь по снегу, оставляя за собой узорную вязь мертвых тел. Солдаты убивали без мысли, без разбора, без жалости, всаживая пули в пятилетних и десятилетних детей, в дряхлых стариков, видевших восемьдесят долгих лет. Они подстреливали бегущих женщин и добивали стонущих раненых, которые ползли по снегу. Забыв о холоде и снеге, они босиком бежали за индейцами, останавливаясь только для того, чтобы разрядить карабин в любое скорченное тело, еще подававшее признаки жизни.

Тем временем авангарду шайенов — тому десятку мужчин, которые были вооружены ружьями и револьверами, — удалось добраться до реки; там они упали плашмя на лед, пробили прикладами и кулаками тонкую корку льда и, припав к воде, пили и пили, невзирая на трескотню выстрелов позади них. Потом они вскарабкались на берег и сделали попытку задержать солдат, пока другие шайены скатывались к реке и в исступлении бросались пить. Лишь около пятидесяти человек добралось до реки.

Уасселс и Врум бежали впереди, за ними неслась лавина полуодетых солдат. Уэсселс, расстреляв все патроны, с пустым револьвером в одной руке и саблей в другой, неистово крича, мчался к реке. Где-то в его разгоряченном мозгу копошилась смутная мысль о том, что, как начальник форта, он сразу же позорно провалился, не только не выполнив приказа относительно вверенных ему пленных, но вдобавок допустив их побег. Это сознание неудачи прорвало в нем хрупкую оболочку, созданную воспитанием, дисциплиной, образованием, выдержкой, и под ней обнаружилось ничтожное, обезумевшее от бешенства существо.

На берегу они нагнали старика с ребенком на руках. Одним взмахом сабли Уэсселс свалил старика; кто-то, бежавший за ним по пятам, пристрелил ребенка. Они побежали вдоль берега и увидели при свете луны двух индейцев, вооруженных только ножами, пытавшихся хоть немного задержать погоню, чтобы дать уйти тем, впереди. Солдаты проскочили мимо Уэсселса, стреляя на бегу; один из индейцев упал, другой, весь в крови, все еще стоял на ногах и размахивал ножом. Врум зарубил его саблей.

Они наткнулись на раненого воина Собаки, который лежал на самом льду, треснувшем под тяжестью его тела, и тихо пел предсмертную песню. Уэсселс щелкнул курком разряженного револьвера. Из-за его спины солдаты выпустили с десяток пуль в умирающего индейца.

Они наткнулись на шестерых женщин и двух мальчиков, которые, не имея больше сил бежать, лежали на снегу, прижавшись друг к другу. Одна из женщин держала на руках мертвого ребенка. Солдаты открыли огонь и стреляли до тех пор, пока все женщины и один из мальчиков не остались неподвижно лежать в ледяной луже крови. Другому мальчику удалось уползти в кусты. Уэсселс и солдаты побежали за ним — и нашли его в двенадцати шагах, в расщелине. Один из солдат вскинул было карабин, но Уэсселс вышиб у него ружье из рук. Другого солдата стошнило.

Уэсселс спрыгнул в расщелину и вытащил мальчика — худого, насмерть испуганного гнома лет одиннадцати — двенадцати. Он был весь в крови и трясся от судорожных рыданий.

Приступ ярости, перекипев, исчерпав себя, изойдя кровью, кончился, и солдаты форта Робинсон вдруг почувствовали холод, усталость и отвращение. Столпившись вокруг ребенка, они стали его успокаивать. Потом они взяли его и понесли обратно в форт.

* * *

Уэсселс, дрожа от озноба, чувствуя тошноту и головокружение, шел через плац. Трескотня ружей, давно уже стихшая, все еще отдавалась в его ушах. Теперь в форте были слышны только стоны раненых.

Вокруг него солдаты молча подбирали мертвых индейцев, уносили к бараку и там складывали у стены, как поленицы дров. Многие несли раненых детей, вели раненых женщин, но раненых было меньше, чем убитых; груда мертвецов у стены барака все росла, и казалось, им конца не будет. С берега ручья приносили все новые и новые трупы.

Уэсселс зашел в лазарет, где доктор Клэнси, хирург форта Робинсон, пытался починить раздробленные кости и развороченные мышцы. Маленький плешивый врач натянул брюки поверх нижнего белья, но остался в домашних туфлях; руки и одежда его были в крови; тут же стояла бутылка виски. Всюду лежали индейцы с застывшими, искаженными лицами; почти все мужчины молчали, дети плакали от боли и пережитого страха, женщины всхлипывали и тихо стонали.

— Пьянством тут не поможешь, — сказал Уэсселс.

— Пьянством? — доктор взглянул на Уэсселса и повернулся к нему спиной.

— Я сказал, пьянством тут не поможешь!

— Отвяжитесь, Уэсселс, — сказал доктор.

— Молчать!

Поток брани, непристойной, язвительной, сорвался с губ доктора. Уэсселс постоял, слушая, потом вышел.

Он увидел фургон, возвращающийся в форт. Фургон был послан к реке по следам индейцев, чтобы подобрать убитых. Уэсселс подошел и стал смотреть, как вытаскивают замерзшие трупы.

Войдя в офицерскую столовую, Уэсселс увидел лейтенанта Аллена; тот сидел у стола, положив голову на руки, и плакал.

— Это никуда не годится! — сказал Уэсселс. Аллен не двинулся.

— А, чтоб вас! Будьте же мужчиной! — крикнул Уэсселс. — Вы офицер, чорт вас возьми, а не школьник! Встать!

Аллен медленно поднялся. — Да, сэр...

— Идите к себе, — спокойно сказал Уэсселс. — Идите спать. Выспитесь хорошенько.

— Да, сэр, — прошептал Аллен,

— К утру все пройдет.

— Да, сэр...

Уэсселс сел за стол, закурил сигару и мрачно уставился в пространство. Со двора, с холода, вошел Врум, топая ногами и стягивая перчатки; он старался держаться прямо, расправив широкие плечи, но Уэсселсу он показался пузырем, из которого выпустили

воздух.

— Я встретил Аллена, — осторожно заметил Врум, искоса глядя на УрДжелса. Он взял предложенную капитаном сигару и подсел к столу.

— Чорт, — сказал он.

— Сколько? — спросил его Уэсселс, не уточняя вопроса, но зная, что будет понят.

— Пока шестьдесят один, — ровным голосом ответил Врум. — Все время подвозят трупы с реки. Из раненых тоже, вероятно, умрет несколько человек.

— Шестьдесят один, — повторил Уэсселс. Врум неторопливо выпускал клубы дыма.

— Отчего они не могли поехать обратно? — пробормотал Уэсселс.

Врум продолжал курить.

— Шестьдесят один, — снова сказал Уэсселс, как будто стараясь запечатлеть эту цифру в своем мозгу.

— Большинство — женщины, — проговорил Врум. Помолчав, Уэсселс сказал: — У сбежавших есть ружья.

Нам придется отправиться за ними завтра и вернуть их.

— Очевидно. Если только они не перемрут или не замерзнут, пока мы доберемся до них.

— Все равно, мы должны отправиться завтра утром.

— Очевидно.

— Вам лучше остаться здесь, — добавил Уэсселс. — Я возьму с собой Бекстера.

— Пожалуйста, — пожал плечами Врум.

Они еще посидели, молча попыхивая сигарами. Наконец, Врум сказал: — Пошли спать?

— Нет еще, я должен составить рапорт.

Он написал рапорт, пошел к себе, выпил пинту виски и попытался заснуть. Но сна не было. Он лежал на кровати одетый, и в темноте перед ним вставали картины, слишком много картин, слишком ясных. Сна не было. Он накинул теплую куртку и, спотыкаясь, побрел к двери, а картины плыли перед ним; он вышел во двор, на холод, но пот так и лил с него.

Фургон возвращался с реки с новым грузом убитых. Уэсселс остановился и смотрел, как солдаты скидывают трупы, держа их за голову и ноги. Он вдруг услышал свой вопрос:

— Сколько?

Уэсселс прошел мимо желтых окон лазарета, и это подействовало на него удручающе, как воспоминание о заунывных похоронных песнях индейцев. Он почувствовал острую жажду деятельности, любого рода деятельности.

Ему встретился лейтенант Бекстер; тот сказал:

— Не могу спать, сэр. Я пытался, но...

— Да...

— Из штаба ничего нет?

— Пока нет... Я только что послал рапорт.

— В газеты попадет?

— Вероятно, — сказал Уэсселс. — В газеты все может попасть.

— Вам, должно быть, пришлось упомянуть мое имя, сэр?

Уэсселс кивнул; впервые в жизни он невольно подумал о бесчисленных наслоениях в человеческой душе. Он не стал углублять эту мысль; он боялся даже представить себе цепь событий, которые могут разыгаться, если имя Бекстера будет связано с резней.

— Я был вынужден, — сказал он.

Бекстер несколько раз кивнул головой; у него был вид испуганного ребенка, и он старался не смотреть в сторону барака.

— Сколько у нас? — спросил Уэсселс. Он почти надеялся, что их потери хоть отчасти уравновесят число убитых индейцев. Жертв было уже так много, что большее число павших солдат могло скорее ослабить, чем усилить тягостное впечатление.

— Один, — ответил Бекстер.

— Один?
— Только один, Парди. Выстрелом в сердце, возле барака.
— Только один, — изумленно повторил Уэсселс.
— Не могу уснуть, — жалобно сказал Бекстер. — Господи, я так устал, а уснуть не могу.

— Но должны быть раненые, — настаивал Уэсселс, Солдаты выгружали из фургона последние трупы шайенов. — Должны быть раненые, — повторил он. — Они напали на нас, у них были ружья.

— Пятеро, сэр. Очень худо Смиту и Иверетсу. Не пошли сразу в лазарет, побежали к реке, истекая кровью... — Он продолжал скороговоркой, захлебываясь подробностями.

— А-а, замолчите! — со вздохом сказал Уэсселс. — Простите, сэр.

— Ладно... я сам прошу извинить меня. — Я думал...

— Ничего, ничего, — сказал Уэсселс.

Бекстер беспокойно топтался на месте, дергаясь, пожимаясь. Уэсселс почувствовал, что холод начинает пробирать его. Он сказал Бекстеру: — Мы можем и сейчас отправиться за ними.

— Я думал, утром...

— Мы можем начать готовиться и сейчас, — сказал Уэсселс.

* * *

На рассвете эскадрон Уэсселса и неполный эскадрон Бекстера двинулись по следу, ведущему вдоль речки. Уэсселс ехал впереди вместе с разведчиком-сиу и Роулендом; Бекстер замыкал колонну. Усталые солдаты зябли; они часами ехали в угрюмом молчании.

За несколько миль от форта они увидели воина Собаки, наполовину вмерзшего в лед. У него были три пулевых раны, одна из них в голову; казалось просто невероятным, как он мог уйти так далеко. Они спешили, зарыли его, потом сделали привал и поели. После этого они отправились дальше.

В одном месте кровавые отпечатки трех пар ног уходили в сторону от главной тропы. Они двинулись по этому следу и ехали около трех миль сосновым лесом, пока их не остановил ружейный выстрел; у одного из кавалеристов бессильно повисла раздробленная рука. Тогда они спешили и поползли вперед, ведя ожесточенный огонь. Ружье отвечало упорно и размеренно, и они провели так около двух часов, всаживая пули в лесную чащу.

Наконец, ружье умолкло; они поползли вперед, приостановились, еще приблизились.

— Вероятно, вышли патроны, — сказал Уэсселс, поднимаясь на ноги. Солдаты последовали за ним. Индеец был мертв, в него попало по меньшей мере с десятков пуль.

Ружье оказалось под ним, а позади него лежали две женщины — два замерзших трупа. Должно быть, увидев, что скво умирают, индеец свернул с главного следа, чтобы остаться с ними до конца.

Один из сержантов показал на раны шайена: — Живучие, — прошептал он.

Вечером, когда разбили лагерь, пошел снег, легкий, пушистый снег, не густой, но след шайенов замело. Утром, развернувшись на обоих берегах реки, отряд проехал несколько миль, пытаясь отыскать след. Поиски оказались безуспешными и в тот и на следующий день; а затем внезапно наступила оттепель, как это часто бывает в середине зимы на северо-западе Америки. Снег, осевший и ноздреватый, быстро таял; земля размякла, копыта лошадей увязали в грязи, и солнце светило так ласково и тепло, как в начале лета. Отряд, спустившись с гор, ехал по волнистой равнине; Уэсселс вел его к границе Вайоминга.

На пути им попался одинокий домик ранчери, окруженный загоном для скота; из трубы вился голубой дымок.

Уэсселс первым подъехал к домику и вызвал хозяина. Тот вышел, улыбаясь, вытирая руки грязным полотенцем; за его ноги цеплялись двое белоголовых ребят.

— Здорово, военный, — кивнул он.

Его жена, высокая, голубоглазая женщина, вышла с двумя ведрами и направилась к колодцу.

— Хороша погодка, — осклабился хозяин.

— Совсем лето, — поддакнул Уэсселс. Ему трудно было говорить.

— Не запомню такой погоды среди зимы. Из форта Робинсон, военный?

Уэсселс молча кивнул.

— А как там наверху? Ненастье?

— Холодно, — сказал Уэсселс.

— Да и у нас еще вчера было холодно.

— Вы не видели индейцев поблизости? — спросил Уэсселс напрямик.

— Парень, который пасет мое стадо, видел кого-то к югу отсюда. Он говорит, что прямо глядеть страшно.

— Индейцев?

— Может, и индейцев. Говорит, что глаза бы его не глядели. А он трезвый был, мистер. Говорит...

— Ладно, ладно, — резко оборвал его Уэсселс. — Сколько их было?

— Да вы не горячитесь, мистер, — сказал ранчero. — Я-то ведь не видел. Пастух говорил, что...

— Сколько? — гаркнул Уэсселс.

— Ладно, военный, пусть будет по-вашему. Он говорит — около двадцати. Может, больше, а может, меньше.

— Пешие?

— Пешие, мистер, пешие.

* * *

Отряд двинулся на юг, по мягкой земле прерий. Кавалеристы гнали лошадей с холодным бешенством, охваченные неудержимым желанием уничтожить, чтобы искупить уничтожение. Они пересекли границу Вайоминга, выбрались на старую шайенскую дорогу, ведущую к Черным Холмам, и к вечеру увидели бревенчатую почтовую станцию. Там они получили более точные сведения. Два ранчero, возвращаясь с пастбища после полудня, видели шествие страшных призраков, словно вышедших из преисподней.

Уэсселс слушал и кивал головой. Кавалеристы, остановившись, начали было отпускать подпруги. Уэсселс дослушал до конца и вскочил в седло. Было что-то зловещее в том, как кавалеристы снова молча подтягивали подпруги и садились на коней.

Они заметили свет шайенского костра, отъехав всего лишь на пять миль от станции. Теперь Уэсселс не видел надобности торопиться; он чувствовал, что это конец погони, а также конец многого другого. Отряд медленно ехал вперед; копыта лошадей ступали почти беззвучно по размякшей земле.

Все же шайены, видимо, слышали их приближение. Когда отряд подъехал к костру из сухого бизоньего навоза, уже никого не было. Уэсселс и солдаты ждали, а разведчик-сиу отправился вперед, согнувшись над следом; немного спустя он вернулся.

— Где они? — спросил Уэсселс.

— Вон там, в бизоньей яме.

Уэсселс был очень спокоен. Он чувствовал себя старым, измученным, и ему больше всего на свете хотелось спать. Он подозвал Бекстера и с расстановкой сказал ему: — Мы окружим их, возьмем в кольцо, ясно? Разведите людей по местам, пусть там и спят. Грязь? Наплевать на грязь. Разведите по местам, пусть там и спят. Поставьте цепь из двадцати патрульных, но только позади солдат; я не желаю, чтобы они перестреляли друг друга. И пусть лошадей отведут подальше. Вы можете оставить свою лошадь при себе, и я свою оставлю, но остальных пусть расседлают и отведут подальше. Понятно?

Бекстер кивнул. Уэсселс засыпал стоя. Как только шайены были окружены, он

разостлал одеяло, лег, положив голову на седло, и сейчас же заснул.

Уэсселс проснулся перед рассветом и, опираясь локтем на подложенное под голову седло, смотрел на восходящее солнце. Постепенно, по мере того, как серый утренний туман поднимался, все яснее вырисовывался пологий склон бизоньего овражка; где-то там, в грязи, притаилось десятка два шайенов; но так обманчив был мирный покой пейзажа, что Уэсселс уже спрашивал себя, не пустую ли яму они окружили.

Вдали, на изгибе волнистой равнины, он видел противоположный край оцепления, — черные фигурки часовых, патрулирующих свои участки, смутные очертания спящих солдат. Трудно было предположить, чтобы кто-нибудь мог пробраться через эту двойную цепь.

Он встал и расправил сведенные мышцы. Было очень тепло, скорее похоже на раннюю осень, чем на зиму. Он шел мимо спящих людей до тех пор, пока не отыскал горниста, — минуто спустя раздались звонкие звуки побудки.

И все еще бизоний овражек не подавал никаких признаков жизни. Пока люди ели неразогретый завтрак, Уэсселс разыскал разведчика-сиу и спросил его:

— Ты уверен, чорт тебя дерит, что они там?

Разведчик пожал плечами: — След привел туда, никто оттуда не выходил.

— Мы будем наступать со всех сторон, — сказал Уэсселс Бекстеру.

— А это не рискованно?

— Прикажите людям целиться ниже. Земля слишком мягка, чтобы задержать пулю.

— Вы не думаете, что следовало бы поговорить с ними?

— Поговорить с ними?

— Метис здесь.

— Да они же не хотят сдаваться, — сказал Уэсселс. — Они хотят умереть, — они ничего другого не желают.

— Все-таки, для рапорта, сэр?

Уэсселс задумчиво ковырял грязь носком сапога. Потом кивнул:

— Я поговорю с ними.

Он пошел вперед вместе с Роулендом, который трусил, отнюдь не скрывая своего страха, и твердил: — Вы делаете глупость, уверяю вас, вы делаете глупость.

— Окликни их, — сказал Уэсселс.

Роуленд покачал головой, пополз вперед и крикнул что-то на чужом, певучем, заунывном языке. Он крикнул, выждал и крикнул снова. Уэсселс вздрогнул, когда на краю ямы встал во весь рост индеец; это было словно явление мертвеца: высокий, костлявый, полуголый призрак, он, пошатываясь, смотрел на Уэсселса, и в его взгляде не было ни ненависти, ни даже скорби, а только угрюмое недоумение.

Уэсселсу не пришлось объяснять Роуленду, что передать индейцам, или ждать, пока метис переведет замирающие слова воина Собаки. Когда Роуленд вернулся, Уэсселс постоял в нерешимости, и на этот раз пуля, пущенная из овражка, взрыла землю у его ног.

Уэсселс сделал движение, чтобы бежать, но солдаты приняли выстрел за сигнал к атаке. Он остался стоять на месте, ожидая их приближения и как будто не замечая трескотни выстрелов из ямы. Едва он повернулся, чтобы стать во главе своих солдат, как почувствовал резкий, обжигающий удар в голову и упал лицом в грязь. Пока он безуспешно пытался встать на ноги, подбежали два кавалериста и отнесли его к тому месту, где осталось его одеяло. Ему перевязывали рану на голове, а он лежал неподвижно, раскинув ноги, с закрытыми глазами. Атака была отбита, Бекстер стоял подле него и то и дело спрашивал, серьезно ли он ранен.

— Нет, нет! Чорт побери! Возвращайтесь к вашим солдатам, лейтенант!

— Атаковать еще раз?

— Какие потери?

— У нас двое убито и семь ранено.

— Продолжайте огонь, — сказал Уэсселс. — Прикажите целиться ниже. Земля мягкая.

* * *

Стрельба продолжалась весь день, и взрытая пулями грязь образовала насыпь вокруг бизоньего овражка; перед вечером солдаты стали подползать все ближе и ближе, непрерывно стреляя. Мало-помалу ответный огонь ослабевал и, наконец, прекратился.

Солнце спустилось низко, а солдаты все еще вели огонь. Наконец, уже в сумерках, перед самым закатом, пропела труба и стрельба смолкла.

И тогда сразу на необозримой равнине настала непостижимая, жуткая тишина. Ястреб, стремительно спустившись с высоты, низко пролетел над бизоньим овражком и снова взмыл в небо.

Прошло несколько минут; солнце почти касалось горизонта, и поперек огненного диска тянулось одно курчавое облако.

Тогда поднялся Бекстер и вслед за ним остальные, один за другим, без сигнала, пока все сто пятьдесят человек не встали на ноги; мерными шагами, настороженно, они направились к овражку, крепко сжимая в руках карабины.

Но и теперь ничто не нарушило тишину.

Они обступили край овражка тесным кольцом. С минуту они постояли в молчании, потом кольцо распалось, — солдаты отворачивались и отходили прочь.

Подошел Уэсселс, поддерживаемый под руки. Солдаты расступились, а он остановился на краю ямы, глядя вниз, на тела двадцати двух мужчин и женщин. И пока он стоял там, солнце зашло, подул легкий ветер и тихая, тихая ночь спустилась над прериями.

* * *

Несколько месяцев назад, в октябре, племя шайенов — сто пятьдесят мужчин, женщин и детей во главе с Маленьким Волком — исчезли для капитана Мэррея, для генерала Крука, для Карла Шурца и для всего мира. Они уходили все дальше и дальше на север, обрывая свой след на дне мелких рек, борясь со снегом и радуясь его белому покрову, и увидели, наконец, вставшие перед ними стеной зеленые горбатые плечи гор.

Они скрылись в Черных Холмах, как лисица в своей норе. Забираясь все глубже и глубже, они искали нужное им место и, наконец, нашли его — длинную лесистую долину между крутыми склонами гор, смыкавшимися с обоих концов ее, и отрезанную от остального мира. Здесь был уют и убежище, пастбище для их измученных лошадей, жирные медведи, олени, искавшие убежища в той же долине, что и люди, дикие утки, прилетавшие из ледяных просторов Канады, кролики, белки, — щедрый, плодоносный край, по которому они так тосковали.

Они начали заново строить свою жизнь. Дни превращались в недели, недели в месяцы, начался снегопад. Их типи занесло сугробами, и память о долгом походе с боями отступала все дальше и дальше. Снежные стены и снежные горы защищали их; рождались дети, матери кормили их грудью, дети постарше, играя в снегу и кроша его в порошок, забывали красную пыль, которая тоже рассыпалась порошком, забывали голод, лихорадку и зловещие существа в негнущихся рубашках, представляющие цивилизацию.

Но многие не могли забыть, ибо триста жителей шайенской деревни, связанные между собой узами родства, были одной большой семьей; и теперь в племени Маленького Волка братья ждали сестер, родители — детей, дети — матерей и отцов.

Они ждали, а старый вождь, Маленький Волк, бережно храня свой запас табаку, посасывал трубку и тревожно смотрел на охранявшие их снежные сугробы. Весна откроет горы для мира, и тогда огромная сеть снова будет стягиваться вокруг них. С первым дыханием весны он приказал сворачивать типи и готовиться к походу. Куда, он и сам не знал, но ему казалось, что они найдут уют и безопасность где-нибудь на севере, в Канаде, куда Сидящий Бык увел племя сиу.

Они вышли из-за гор и двинулись на северо-восток, к Паудер-Ривер. И там, недалеко от

Паудер-Ривер, они встретили разведчика-сиу из отряда Кларка, по имени Красный Боевой Убор. И там, через посредство сиу, говорившего с запинкой на непривычном шайенском языке, решение Карла Шурца дошло до Маленького Волка.

ДЖОН УИВЕР ПИРРОВА ПОБЕДА⁵

Пока «неприятель» сидел на тротуаре, укрываясь лишь в тени лавок, или попивал кока-кола в дешевых кафе, армия, в которой все они служили когда-то, стягивала свои силы к площади Эллипс, откуда около двух месяцев назад Экспедиционный корпус начал свое шествие к Статуе Мира. Военное министерство издало официальный приказ:

Один батальон Двенадцатого пехотного полка располагается в форте Вашингтон, штат Мэриленд.

Один эскадрон Третьего кавалерийского полка располагается в форте Майер, штат Виргиния.

Один танковый взвод временно располагается в форте Майер, штат Виргиния.

Штабная рота из Шестнадцатой бригады располагается в Вашингтоне, округ Колумбия.

Одновременно с этим был издан приказ о концентрации резервов в форте Майер, куда войска стягивались от форта Джордж Мид — штат Мэриленд, форта Говард — штат Мэриленд, и форта Хамфри — штат Виргиния.

Генерал Макартур, выехавший на театр военных действий в своем лимузине вместе со своим заместителем генерал-майором Джорджем Ван Хорн Мозли, сделал следующее сообщение о первоначальной стадии сражения:

— Согласно вполне справедливому мнению генерала Майлса (непосредственно руководившего операцией), демонстрация превосходящих сил при предоставлении повстанцам достаточного времени для того, чтобы рассеяться, обещала наиболее простое и верное достижение цели в создавшейся обстановке. Войскам было выдано необходимое специальное снаряжение, в частности бомбы со слезоточивым газом.

Ветераны, у которых от долгого сидения на тротуаре разломило спины, встали и, вытянув шеи, смотрели на появившиеся в другом конце улицы войска. Городские служащие, не скупясь, угощали сигаретами. Ветераны принимали сигареты с благодарностью. Впоследствии Макартур говорил, что, видя снисходительное к себе отношение, эти люди пришли к заключению, что они могут взять в свои руки управление страной, либо косвенным путем оказывать давление на правительство. Ветераны в полном молчании смотрели на приближающиеся войска, и улыбки сбегали с их лиц, шутки замирали на устах — слишком уж внушительная сила была направлена против силы ничтожно малой.

— Недооценка сил, защищающих закон и порядок, — докладывал Макартур, — толкает мятежные элементы на сопротивление, что приводит обычно к открытым столкновениям, между тем как проявление силы завоевывает моральный авторитет, который обычно уже сам по себе приводит к желаемому результату.

Войска шли развернутым строем по широкому проспекту, видевшему столько военных смотров и парадов, — их «моральный авторитет» сверкал на обнаженных клинках кавалерии, на примкнутых штыках пехоты. Медленно ползли грузовики с установленными на них пулеметами, шесть танкеток грохотали по асфальту. Войска шли без знамен, что, пожалуй, в этом случае было довольно разумно.

Кавалерийским эскадроном командовал майор Джордж Пэттон, а среди ветеранов, которых надлежало изгнать из города, был один, получивший боевую награду за то, что он спас Паттону жизнь.

Больше всего ветеранов поразил юношеский вид солдат.

⁵ Отрывок из одиннадцатой главы.

— Глядите, да это ж просто птенцы, желторотые птенцы!

У некоторых солдат лица были закрыты чудовищными хоботами противогазов. Безусые мальчишеские лица, выглядывавшие из-за пулеметов, установленных на грузовиках, казались озабоченными. Ветераны, уже не молодые, потрепанные жизнью, смотрели на этих юнцов в солдатской форме, которую они сами носили много лет назад, когда тоже были молоды и стояли лицом к лицу с вооруженным врагом.

— Они еще за это получают боевые награды, — сказал один из ветеранов.

Кавалеристы уже изнемогали от жары — темные полумесяцы обозначались подмышками на их оливковых куртках...

Пожилой ветеран, наблюдавший за тем, как один из солдат неумело привинчивает штык, крикнул: — Какого чорта ты прилаживаешь этот вертел? — Солдат отвернулся и начал вытаскивать противогаз; ветеран покачал головой: — Да ведь он еще усов не бреет, чорт его раздери!

Тайлер, стоявший позади Парка и Фаулера, скосил глаза на лимузин начальника штаба, с усмешкой разглядывая разукрашенную золотым галуном фуражку и безупречного покроя мундир, пестревший во всю ширину груди орденскими ленточками.

— Чорт-те что! — сказал Тайлер. — Прямо-таки Жанна д'Арк!

* * *

Военные действия развертывались строго по плану, по всем правилам высшей стратегии; это была классическая учебно-показательная операция: пехота наступала с востока, кавалерия — с запада. Кавалеристам предстояло разметать бунтовщиков, загнать их в боковые улицы, после чего гигантские клещи должны были сомкнуться: подоспевшая пехота, преследуя неприятеля по пятам, изгоняла его из города. Несколько труднее было найти применение для танков, а также и для самолета разведывательной авиации, который неустанно кружил над городом — то ли с целью рекогносцировки, то ли для прикрытия войск с воздуха, то ли для усиления драматического эффекта... тайна сия была известна одному только начальнику штаба.

Линии коммуникации поддерживались согласно лучшим традициям службы связи; верховой связист скакал от командующего пехотой к командующему кавалерией и обратно: покрыв расстояние в тридцать метров, он лихо брал под козырек, рапортовал, снова брал под козырек и, натянув поводья, поворачивал своего взмыленного скакуна и снова трусил по узкой асфальтовой полоске ничьей земли.

— Эй, приятель! — крикнул Тайлер, отбежав от Парка и Фаулера и подскакивая к командующему кавалерией. — Почему вы, командиры, не покричите друг Другу то, что вам нужно? Дали бы лошадке передохнуть.

Острие штыка, проткнув мешковатые брюки Тайлера, отбросило его назад в толпу. Парк и Фаулер втащили его на тротуар. Солдат опустил штык: из-под закрывавшего его лицо противогаза долетела неразборчивая брань.

— Прошу прощения, — сказал Тайлер, улыбаясь Парку. — Люблю лошадок.

Солдаты, согнувшись, со штыками наперевес, окружали здания, которые надлежало очистить, и бросали бомбы со слезоточивым газом; голубой дымок курился меж полуразрушенных стен. Ветераны один за другим покидали свое убежище — кто с узелком подмышкой, кто, прижимая к лицу рубаху или свитер; наспех собранные чемоданы нередко раскрывались по дороге, и тряпье вываливалось наружу, на покрытое обломками кирпича поле битвы. Толпа, встретившая сначала смехом эту нелепую демонстрацию военной мощи, подняла возмущенный крик, когда верховые, ударяя саблями плашмя по головам, начали наезжать на запруженные людьми тротуары, а легкий ветерок разнес над улицей удушливые волны газа. По лицам людей заструились слезы; тяжело дыша, оглушенные внезапной резкой болью в голове и пораженных легких, они стали подымать голубоватые бомбы, которые обжигали им пальцы, и с бранью и проклятиями швырять их обратно в солдат. Кое-кто,

схватив кирпич или обломок свинцовой трубки, принялся прокладывать себе путь сквозь ряды солдат, наталкиваясь везде только на новые бомбы, на обнаженные сабли, на штыки.

— Бунтовщики, — докладывал генерал Макартур, — дрогнули перед сокрушительной мощью наших сил, несмотря на то, что численное превосходство противника равнялось пяти-шести к одному. Но когда имеется налицо достаточный контингент войск, хорошая техническая оснащенность, крепкая дисциплина и согласованность действий, то победа над любым скоплением черни обеспечена.

Вспыхнули пожары; пожарные команды стояли наготове, получив приказ предоставить огню пожирать обреченные кварталы, но охранять от огня близлежащие владения. Черные клубы дыма, смешиваясь с голубоватым дымком газа, густым облаком окутали купол Капитолия.

Какой-то ветеран, прижимая к себе одной рукой арбуз, другой — котомку с пожитками, выбежал из дома на улицу и уронил котомку. Когда он обернулся, чтобы подобрать котомку, двое солдат отпихнули его прочь, и один из них проткнул арбуз штыком. От неожиданности ветеран попятился назад. Стоя на краю тротуара, он держал в руках истекающий соком арбуз и истерически смеялся.

Один солдат, увидав старый ффорд, который изгоняемые ветераны, нагрузив чемоданами, узлами и котомками, старались отвести в безопасное место, бросился к нему с пылающим факелом. Офицер остановил солдата. Солдат недоумевал — почему?

Какая-то женщина пробиралась сквозь толпу; платье у нее на плече было разорвано, глаза полузакрыты; она бросилась к протянутой во дворе веревке, на которой в облаках дыма болталось платье и дамское трико абрикосового цвета. Двое солдат схватили ее; она кричала и вырывалась, стараясь расцарапать им лица. Они впихнули ее обратно в толпу, и она повалилась на землю, всхлипывая. Другие женщины подняли ее и оттащили на тротуар, подальше от конских копыт.

Посреди улицы выла собака, пятась задом, припадая на задние лапы.

Ветерана с рассеченным саблей ухом повели к санитарной машине. Ветеран размахивал флагом и выкрикивал угрозы, призывая толпу не сдаваться...

В Белый дом было послано сообщение, что бой в своей первоначальной стадии протекает вполне успешно, и исход его не вызывает больше сомнений. Войска вошли в соприкосновение с неприятелем, и после непродолжительной схватки, в которой кирпичи и кулаки оказались бессильными против винтовок, пистолетов, слезоточивых газов, сабель, штыков, танков и пулеметов, противник был опрокинут и обращен в беспорядочное бегство. Регулярная армия располагает также безусловным превосходством в воздухе.

Секретарь президента, озабоченный реакцией газет на описанное выше сражение, заявил, что консервативная пресса, несомненно, сумеет правильно истолковать действия правительства, но остальные газеты, вероятно, поднимут вой.

— Да, вероятно, — сказал президент.

Толпа, задыхаясь от газов, в смятении отступала к югу; она пересекла Миссури-авеню и отступила дальше, к зеленому треугольнику парка, где ноги тонули в мягкой траве и глаза мало-помалу переставали слезиться. На Мейн-авеню отступление приостановилось: не потому, чтобы ветераны хотели повернуть обратно и сделать последнюю отчаянную попытку удержаться в городе, а просто, чтобы поглядеть на пожар. Некоторые в изнеможении опустили на землю, другие стояли, вытирая глаза носовым платком, смоченным водой из уличной колонки. Все кашляли; все уныло глядели на темную дымку, окутавшую белый купол Капитолия. Войска подступали не спеша, пехотинцы шли с винтовками через плечо. Они не торопились. Так выметают мусор из подвалов. Мусор ведь не сопротивляется.

* * *

Группа пехотинцев столпилась у ларька с фруктовыми водами, который кому-то из

солдат удалось отстоять от огня. Сдвинув каски на затылок, они вытирали пот со лба и пили освежающий напиток прямо из бутылок.

— Скверная история, — сказал один из солдат стоявшему рядом репортеру. — Но приказ есть приказ.

Они пили не спеша, словно отдыхая в перерыве между двумя таймами.

Пехота перестроила ряды, кавалерия развернулась вдоль Мейн-авеню. Конники на взмыленных лошадях, спрятав до времени свои сабли в ножны, взирали на стоявшую впереди толпу. Танки, как гигантские стрекочащие жуки, неуклюжие и бесполезные, уходили на юг, оставляя на асфальте Третьей улицы свой гусеничный след. Разведывательный самолет гудел в ярко-синем небе.

Временное затишье было нарушено появлением негра с американским флагом в руке; в глазах ветеранов этот флаг здесь, в Вашингтоне, всегда служил символом лояльности. Негр взобрался на разветвление высокого раскидистого дерева и, размахивая флагом, запричитал:

— Господи! Ты, даровавший нам эту страну, помоги нам теперь! Господи! Ты, даровавший нам эту страну...

Один из солдат снял с пояса голубую коробку, оттянул предохранитель и швырнул бомбу к подножию дерева. Раздался взрыв, шипение, и облачко белого дыма за клубилось в воздухе. Негр скатился с дерева, выронив флаг. Один из ветеранов подбежал и подхватил флаг, прежде чем он упал на траву.

Одна за другой взорвалось еще несколько бомб, кавалерия двинулась на толпу, и толпа побежала...

Впереди, к югу, лежала набережная реки Потомак, и толпу отделяла от нее узкая мощенная булыжником улица, которая, петляя и извиваясь, вела к подъемному анакостийскому мосту. Стоило только оттеснить ветеранов с просторных парков и площадей на эту улицу, и можно было уже праздновать победу, ибо, стиснутая между двумя рядами домов, преследуемая по пятам кавалерией, толпа вынуждена будет двигаться вперед, а как только она перейдет мост, его можно поднять и отрезать ей доступ в столицу. Подобный стратегический план, пользуясь языком домашнего обихода, был так же не сложен, как выдавливание зубной пасты из тюбика.

Парк и Тайлер, подхваченные людским потоком, двигались вместе с толпой; Фаулера они потеряли из виду еще во время первой кавалерийской атаки. Внезапно Парк услышал возглас Тайлера, и спокойное движение толпы нарушилось — Тайлер пробивался сквозь толпу к рослому, плечистому негру, схватившемуся с двумя солдатами. Негру удалось выбить винтовки из рук солдат, и он стоял, молотя огромными черными кулаками, а солдаты, словно мальчишки, которые никак не могут поймать раскачивающуюся веревочную лестницу, старались ухватиться за его руки и повиснуть на них. Тайлер, со сбитыми набок очками, работая локтями и кулаками, прокладывая себе путь через людской поток; Парк протискивался за ним следом. Парк слышал, как чертыхались солдаты и один из них выкрикивал:

— Черномазый! Черномазый, сукин сын!

— В последний раз тебе говорю, — сказал негр, удерживая обоих солдат на расстоянии вытянутой руки, ухватив их за воротники курток, отчего они задыхались, как в петле, — я этих слов не потерплю.

Солдаты корчились и приплясывали на месте, а негр говорил с расстановкой, терпеливо, словно старался растолковать библию на редкость непонятливым ученикам:

— Много кой-чего я терплю, только одного не потерплю — таких вот гадких слов.

Тайлер, поправляя очки, протискивался сквозь редяущий край толпы. Парк старался не отставать от него; в эту минуту долговязый солдат в противогазе начал пробиваться к негру, нацеливаясь на него прикладом. Солдат держал винтовку над плечом и, крепко сжимая отполированное ложе, подбирался к негру сзади; штык сверкал, еще минута, и приклад размозжил бы негру голову. Тайлер закричал, негр обернулся, и Парк, вытянув руки, бросился к поднятой винтовке и, как пловец, ныряющий в воду, прыгнув на солдата,

опрокинул его на землю. Винтовка с металлическим звоном грохнулась на мостовую.

— Ах ты, чорт! — озадаченно проговорил негр.

Парк лежал, оглушенный падением, обхватив руками ноги в солдатских обмотках. Он слышал, как оба солдата пыхтели, борясь с негром. Потом он услышал стук копыт, голос Тайлера, что-то кричавшего ему, и возглас: «Черномазый!» Потом он больше уже ничего не слышал.

* * *

Лорри, дрожа, как в лихорадке, сидела на краю кушетки, не спуская глаз с входа в палатку, — темного треугольника, за которым все больше сгущался мрак. Позади нее масляный фонарь, висевший на гвозде, вбитом в столб палатки, отбрасывал тусклый свет на троих детей, спавших на соломе. Мистер и миссис Кэрсон, рука в руке, прикорнули рядом с детьми. Бесс положила Лорри руку на плечо, притянула ее к себе в глубь кушетки.

— Ну, ну, милая. Не нужно так тревожиться. Ничего не случится с Парком.

Ленгстром подтащил бочонок поближе к Лорри.

— Просто он задержался там, чтобы посмотреть на фейерверк.

— Но уже все кончилось, — сказала Лорри. — Почему же его все нет и нет?

В палатку неожиданно ворвалась миссис Финч; волосы у нее были закручены в папильотки, лицо блестело, обильно смазанное кольдкремом. Она остановилась посреди палатки, истерически ломая руки, не в силах вымолвить ни слова.

— Ну, что это еще с вами такое? — спросила Бесс.

— Они идут сюда, — простионала миссис Финч. — Они хотят нас выгнать.

— Нет, — сказала Лорри. — В приказе о нас ничего не говорится, только о вашингтонских лагерях.

— Они развели мост, отрезали нас от того берега, — сказала миссис Финч. — И повсюду полицейские.

— Это какая-то ошибка, — сказал Ленгстром. — На что им эти пустыри?

— Я причесывалась на ночь, — сказала миссис Финч, — и вдруг какой-то мужчина просунул голову в палатку и говорит, сюда идут солдаты, убирайтесь лучше подобру-поздорову. Даже не постучал, представьте!

— Не стоит волноваться, — сказал Ленгстром. — Вы же знаете, как тут всегда полным-полно разных слухов.

— Мистер Финч этого просто не переживет! Нет, вы только вообразите, чтобы его выгнали из города, словно какого-нибудь бродяжку!

— Да, да, еще бы! — подхватила Бесс. — Не забудьте, что он капитан интендантской службы.

— Вам хорошо смеяться, — сказала миссис Финч, — у вас никогда не было положения в обществе. Вы не знаете, как это тяжело — потерять положение.

— Я потеряла кое-что подороже.

Миссис Финч фыркнула и обиженно засемила из палатки, Лорри вскочила, охваченная тревогой, и пошла за ней следом; остановившись в темном треугольнике, она посмотрела вслед тщедушной испуганной фигурке; улица, обычно такая тихая вечерами, сейчас, казалось, была охвачена смятением. Лагерные полицейские сновали взад и вперед, городские полисмены проносились на мотоциклах. Полы палаток были откинута, и мужчины загоняли домой ребятишек, а женщины собирали там при свечах свои пожитки, запихивая их в корзины и чемоданы. Миссис Маррини с грудным ребенком, завернутым в одеяло, вышла из своей палатки; она остановилась, поджидая мужа, затем присоединилась к веренице детей, двинувшейся следом за маленьким согбенным человечком в заплатанной армейской куртке, неуверенно ковылявшим впереди.

— Если они и вправду придут, — сказала миссис Кэрсон, — куда же мы денемся?

— В Джонстаун, надо полагать, — сказал мистер Кэрсон. Неделю назад мэр

Джонстауна произнес пламенную речь, восхваляя лояльность и дисциплину ветеранов, и в ответ на слухи о грозящем им изгнании заявил:

«Если только вас когда-либо выгонят из Вашингтона, вам всегда найдется место в Джонстауне». Но другие пенсильванцы были не столь гостеприимны: джонстаунская торговая палата тотчас подняла крик ужаса, к которому присоединили свои голоса местные руководители Американского легиона.

— Джонстаун? — переспросила Бесс. — Это там, что ли, было наводнение?

Ленгстром кивнул. Выброшенный им на улицу окурочник описал оранжевую дугу во мраке. — Да. Им уже приходилось давать приют бездомным людям.

— А вы знаете, — сказала миссис Кэрсон, — ведь это тоже, как наводнение. Когда я вспоминаю наш домик, мне всегда кажется, что его смыло водой.

Лорри отошла от порога и снова села на кушетку. — Да, только после наводнения река входит в берега, и можно вернуться домой, вымести мусор и начать жизнь сначала.

— Вымести мусор и начать жизнь сначала... — Повторила Бесс. — Да, вот этим-то мне и нужно заняться, как я понимаю. — Она вздохнула: — Ну, да с другой стороны, у меня точно гора с плеч свалилась. Слово мне надо было зуб вырвать, а я все откладывала, откладывала, да и вырвала наконец.

В темноте у входа послышался какой-то шорох, и Дебс Тайлер, щуря свои совиные глаза, возник на пороге: широченный двубортный пиджак его был сорван с одного плеча, карман болтался ниже колена, грязное лицо было сплошь покрыто ссадинами.

Лорри вскочила, бросилась к нему: — Где Парк? Вы видели его?

Тайлер щурился от тусклого света фонаря. Лорри, вся дрожа, попятилась от него.

— Он ранен? — проговорила она. Тайлер кивнул.

— Тяжело?

— Неизвестно.

— Так я и знала, — сказала Лорри. — Когда он не пришел домой, я уже поняла.

Бесс подошла к ней. Миссис Кэрсон, разлучившись на минутку со своим мужем, тоже подошла, и они вдвоем усадили ее на кушетку. Лорри плакала.

Ленгстром подскочил к Тайлеру, его костлявые руки дрожали.

— Они идут сюда, Дебс?

— Нет. Бора звонил в Белый дом. Ему сказали, что войска не тронут сегодня наш лагерь.

Ленгстром глядел не на Тайлера, а на улицу.

— Не придут сегодня, да?

— Так ответили из Белого дома.

— Странно, — сказал Ленгстром. — Они уже здесь. Впереди ехали пожарные машины с установленными на них прожекторами, прокладывая во мраке светлую дорожку; за ними, глухо стуча копытами по влажной земле, шла кавалерия, за кавалерией следовали танки и пехота. Лачуги на восточной стороне лагеря подпалили, чтобы осветить путь вторжению. Ничем нельзя было оправдать этот набег, ни малейшего повода не было дано к нему, если вообще может существовать повод для того, чтобы травить газами женщин и детей, бросать против них танки. И в первые минуты изумления и гнева мужчины, похватав палки и камни, выкрикивая яростные проклятия, бросились навстречу приближающимся войскам. Слезоточивый газ петлей сдавил им горло, крики замерли. Копыта вздыбленных, ржущих коней остановили их натиск. Один из лагерных начальников, спотыкаясь, выбежал вперед с белым флагом: он сдавал неприятелю свою столицу, которая могла быть объявлена открытым городом, если бы эта война велась по правилам.

Пехота надвигалась с винтовками наперевес, на остриях штыков сверкали красные отблески пожара. Лагерь пылал уже со всех концов: одни лачуги подожгли солдаты, другие — сами ветераны; никто не знал, как все это началось, да это и не имело значения теперь — все равно ведь их выгоняли отсюда, выгоняли с женами и с детьми, а путь в город через мост был прегражден тоже — там стояли танки и войска.

Женщины с мешками и узелками, с плачущими ребятишками на руках, как безумные, бегали по улицам... Парень в матросской форме, заночевавший в лагере у приятелей, вместе с ветеранами подбирал бомбы и швырял их обратно в солдат.

— Чорт возьми, мы покажем этой пехтуре, на чьей стороне флот!

Друзья утащили его в палатку, но через несколько минут он появился снова, переодетый в штатское платье, и возобновил свою бесполезную борьбу. Обойщик из Орегона с двумя сыновьями, шести и восьми лет, остановился взглянуть, как солдат поджигает его хибарку. Внезапно младший из мальчиков, вспомнив про своего любимца-кролика, бросился спасать его из огня, но тут же вернулся назад, хромя, со штыковой раной в ноге.

— Верно, этот солдат сам еще безусый мальчишка, видать, совсем потерял голову, — сказал отец.

Один из ветеранов с ребенком на руках покидал лагерь вместе со своей женой, вывезенной из Франции; сделав несколько шагов, он останавливался и принимался испуганно дышать, дышать, дышать, припав к ротику ребенка, стараясь спасти ему жизнь: у ребенка была астма — и газы сделали свое губительное дело.

Жена одного из ветеранов укрылась вместе со своими детьми, младший из которых был болен, в частном владении — в маленьком домишке, стоявшем на отлете, на самом краю лагеря. Эта была старая дощатая хибарка с щелями в дверях и оконных рамах. Крошечный квадратный дворик перед домом был обнесен частоколом. Годовалый малыш только что начал поправляться от дизентерии.

«Войска, поднимаясь вверх по холму, гнали перед собой народ, — рассказывала впоследствии эта женщина. — Когда они проходили мимо нашего домика, какой-то солдат бросил во двор газовую бомбу; она упала возле самой двери. Дом наполнился дымом, у нас потекли слезы из глаз. Мы стали прикрывать детям лица мокрыми тряпками. Примерно через час у малыша началась рвота. Я вынесла его на воздух, и там его снова стошнило. Наутро он весь посинел, и мы отвезли его в больницу».

Через несколько дней ребенок умер.

Мост через реку был поднят и оцеплен полицией, чтобы поток изгнанников не мог хлынуть в столицу. Их сгоняли на холм и через улицы Анакостии, через огромные пустыри свалки, гнали, как скот, все дальше и дальше — на дороги, ведущие вон из города. Были автомобильные гудки, тарахтели мотоциклы, испуганно ржали кони, но ничто не могло заглушить гневные крики мужчин, рыдания женщин, разлученных с мужьями и детьми. Просмоленная бумага лачуг горела, распространяя удушливый запах, едкий зловонный дым мешался с тяжелыми, стелющимися по земле облаками слезоточивого газа.

Языки пламени еще полыхали, тревожа полночный мрак, и толпы бездомных людей текли по улицам Анакостии, по отлогим холмам Мэриленда, а генерал Макартур и министр Харли уже позировали перед фотоаппаратами корреспондентов, и репортеру одного из еженедельников довелось услышать восторженные восклицания военного министра:

— Это — величайшая победа! Мак славно поработал! Сегодня он герой дня.

СТЕФАН ГЕЙМ КРЕСТОНОСЦЫ⁶

«Освободители»⁷

О первые в жизни Макгайр увидел баррикаду. Только что он вел машину по широкой

⁶ Отрывки из романа. Печатаются с сокращениями.

⁷ Названия главам даны редактором.

улице, среди лавчонок и ресторанчиков с полинявшими вывесками. Ему пришлось тащиться в хвосте за медленно ползущими французскими танками, которым доставались на долю все восторги и приветствия.

Когда виллис поравнялся с относительно малолюдной улицей, отходившей вправо, Люмис, которому проклятые танки уже давно мозолили глаза, велел Макгайру сворачивать.

— Нужно объезжать, — уверял он, — не то пропустим самое главное.

Где произойдет «самое главное» и в чем оно будет состоять, Люмис не знал. На последнем отрезке пути из Рамбуйе, у пригородов Парижа, его стала трясти лихорадка освобождения. Сейчас она достигла высшей точки.

— Крэбтриз! Мы же освободители! Освободители, чорт его подери!

В памяти его всплыли какие-то слова, слышанные в школе, на уроках истории.

Следуя приказу Люмиса, Макгайр свернул за угол и очутился перед баррикадой. Он стал ее разглядывать: опрокинутый автобус, матрацы и мешки с песком, куски железной решетки и обрывки колючей проволоки — танк прошел бы по ним, как по ровному месту, — и кое-где из этого нагромождения торчат направленные прямо на него винтовки. Он никогда не слышал о том, что такое баррикады и какие люди на них сражаются, но почему-то испытал легкое волнение и даже чувство гордости. Что за баррикадой могут скрываться враги, ему и в голову не пришло.

Зато Люмис и Крэбтриз сразу об этом подумали. Люмис решил поспешно отступить и уже хотел приказать Макгайру дать задний ход, но тут на баррикаде показался человек и, упоенно размахивая руками, крикнул: — Американцы! Ура!

Макгайр невольно рассмеялся: человек возник на этой куче хлама так внезапно, точно его выбросило пружиной; но Макгайр тотчас же понял, что он являет собой некий сигнал. В мгновение ока вся картина преобразилась. Пустынная, тихая улица наполнилась людьми. Они выбегали из домов и из-за баррикады, крича и жестикулируя, перелезали и перепрыгивали через препятствие, которое сами же возвели.

Крик «Американцы! Ура!» подхватили сотни голосов. Какая-то старуха с развевающимися седыми космами посылала Макгайру воздушные поцелуи. Детишки, пробравшись между ногами взрослых, осаждали виллис и залезали на капот, выкрикивая что-то, чего никто, даже они сами, не понимали. Мужчина в черном костюме и в котелке, видимо, считающий себя должностным лицом, преподнес Макгайру три бутылки вина и начал торжественную речь, которая тут же потонула в оглушительном реве, крике, визге, песнях — в многоголосом ликовании толпы.

Вино явилось началом целого потока подарков: женщина, за юбку которой держались два малыша, круглыми глазами уставившиеся на чужих, краснея, преподнесла им корзинку с жареной курицей; крупный мужчина в закапанном кровью фартуке — вероятно, мясник — принес еще вина; какая-то дама явилась с бутылкой ликера и, видимо, пыталась объяснить, что она знавала лучшие дни и что бутылка эта — последний тому свидетель.

А цветы! Макгайр просто не мог себе представить, откуда в этом убогом квартале Парижа могло появиться столько цветов. Розы, гвоздиками еще цветы, каких он никогда не видел, белые, желтые, синие, красные, оранжевые, лиловые! Сначала он пытался украсить цветами свою машину, но потом махнул рукой: цветы прибывали так быстро и в таком количестве, что раскладывать их было некогда и негде.

Люмис и Крэбтриз с довольным видом разукрасили цветами свои персоны, уподобившись быкам на деревенской ярмарке. Но скоро они забыли о цветах — их внимание привлекли женщины.

— Вы посмотрите! — ахнул Крэбтриз. — Нет, вы только посмотрите на них!

Молодые женщины, которым удалось, наконец, протолкаться в первые ряды толпы, колыхавшейся вокруг машины, были вызывающе красивы. Как они успели нарядиться за несколько минут, промелькнувших с тех пор, как баррикада сдалась американской машине? Или, может быть, они разоделись уже давно, в ожидании освободителей? Или всегда носили такие платья и прически? Никто этого не знал, да и не спрашивал. Они были здесь, вот и все.

Волосы, зачесанные на сказочную высоту; светлые, яркие, пестрые платья, обрисовывающие грудь; юбки, открывавшие ноги выше колен, когда обладательницы их отчаянно толкались и извивались, протискиваясь к трем американцам, чтобы пожать им руки, обнять их и расцеловать! Всякое подобие стеснения исчезло без следа, как только первая девушка со смехом бросилась на шею Крэбтризу.

В лице этих молодых женщин вся улица, весь квартал, весь город отдавал свою любовь освободителям.

Люмис был в полном восторге. Он подпрыгивал на сиденье, обнимался, целовался, хохотал, а когда удалось перевести дух, хлопнул Крэбтриза по плечу и заорал: — Ну, что я вам говорил? Стоило, а?

И Крэбтриз крикнул, захлебываясь от удовольствия: — *Liberte, Fratemite, Egalite!*,⁸ — и заткнул себе за ухо еще один цветок.

— Здорово, чорт возьми! — взревел Люмис и обхватил руками девушку, которая лезла в машину.

Это была Тереза.

Она вышла из-за баррикады, которую Мантен приказал частично разобрать, чтобы виллис мог проехать дальше, когда уляжется буря приветствий.

Сначала она глядела на веселье издали. Но толпа понесла ее вперед, и с каждым шагом общее настроение все сильнее охватывало ее. Когда она очутилась возле машины, она уже волновалась и радовалась не меньше других: начинается новая жизнь! Люди снова стали людьми, и смеются, и любят друг друга!

Она почувствовала, что взлетает на воздух. Она почувствовала, что ее обнимают сильные руки большого, веселого, смеющегося американца, — он сказал что-то, чего она не поняла, потом наклонился к ней.

Внезапно воздух прорезали выстрелы. Отзвуки их заметались между домами, где-то пуля рикошетом попала в стену, и на улицу посыпалась штукатурка.

Люмис замер. Его пронизало страшное ощущение, будто он, только он один — мишень невидимого, коварного, бьющего насмерть врага.

Инстинктивно он выдвинул Терезу вперед, а сам за ее спиной скорчился на сиденье. — Поехали! — крикнул он Макгайру. — Скорее вон отсюда! Давайте газ!

Снова раздались выстрелы. Макгайр как будто разобрал, с какой крыши стреляли.

После первого залпа люди словно окаменели. Второй вернул их к жизни. Они стали разбегаться во все стороны; женщины тащили за собой детей; дети падали, взрослые спотыкались о них...

К машине подбежал Мантен. — Помогите нам! — крикнул он на ломаном английском языке. — Фашисты! — Он указал на крышу. — Снайперы... Предатели... немцы оставляют их здесь.

— Давайте газ! — завизжал Люмис.

Макгайр обернулся и увидел, что Люмис прячется за девушкой, как за щитом. Ругнувшись вполголоса, он схватил руки капитана, судорожно вцепившиеся в Терезу, и стал отдирать их. Люмис ощерился, но разжал пальцы. Макгайр едва успел бросить девушку на дно загруженного подарками виллиса, как раздался третий залп.

Макгайр рывком пустил машину вперед, не отнимая большого пальца от кнопки клаксона.

Мантену пришлось отскочить в сторону. Он глянул вслед машине, уносившейся прочь через брешь, которую он сам приказал проделать в баррикаде. Потом закрыл, глаза, словно для того, чтобы не видеть безобразного зрелища.

Его люди еще оставались за баррикадой, под защитой автобуса и мешков с песком. Мантен собрал свой отряд и повел в здание, из которого фашисты стреляли в толпу.

⁸ Свобода, братство, равенство! (Франц.).

* * *

Портье в отеле Скриб зарегистрировал Люмиса и Крэбтриза и сделал вид, что не заметил Терезу. Оба офицера были тяжело нагружены своим походным снаряжением и бутылками, полученными в дар от благодарного населения Парижа. Тереза несла корзину с курицей.

Она была голодна. Пока они мчались от баррикады к отелю Скриб, салфетка, прикрывавшая курицу, съехала набок; Люмис, решивший, что всякая остановка грозит ему гибелью, велел гнать, не отвечая на приветствия жителей. Тереза, забившись в машину среди полевых сумок, спальных мешков, цветов и бутылок, всю дорогу видела эту курицу и вдыхала ее запах. Время от времени она судорожно глотала слюну; она не ела с самого утра, если не считать одного серого хлеба.

Глядя на жирную, поджаристую куриную грудку, Тереза впервые за весь день осознала перемену, происшедшую в ее жизни. Перемена эта совершилась так быстро, и сама Тереза так деятельно в ней участвовала, что задуматься она успела только теперь, когда ее уносило этим новым, бурным потоком.

Стремительное движение пьянило ее. А между тем в ней жило смутное чувство: «зачем я здесь, с этими чужими людьми, с военными, — кто знает, куда они едут и что у них на уме». Баррикада, породившая такой огромный нервный подъем, все же была скалой в бушующем море, за которую можно было держаться, а она пустилась вплавь, когда еще гремели выстрелы, впрочем, нет, те выстрелы были последними, война кончилась, явились освободители, и она едет с ними в машине.

А машина мчалась так быстро, и так пьянил запах жаркого, и таким огромным казалось все, что с ней происходило, что пути назад не было. С той самой минуты, как удивительный Мантен приказал валить наземь автобус и Тереза оказалась участницей созидания нового мира, она почувствовала перст судьбы и всю невозможность противиться этой судьбе.

Все, чего ей нехватало, когда она жила, замкнувшись в своей личной жизни, теперь заливало ее горячими волнами. Плоды свободы! Давать и получать — ведь это одно и то же. Мы стали так богаты, что от изобилия сердца наши раскрываются и отдают свои сокровища, одновременно получая и обогащаясь во сто крат.

— А вы разве не пойдете с нами? — спросил Люмис.

Она еще не очнулась от своих мыслей. Люмис обнял ее за талию, вложив в этот жест и горячую просьбу, и покровительство хозяина.

— Да, я пойду с вами, — отвечала она фразой из английского учебника. Она послушно двинулась к лифту вместе с обоими американцами. Новый мир, в который она попала, все еще казался ей нереальным — мягкие ковры, теплые тона мебели, блестящая бронза. Но этот мир начинал ей нравиться.

— Это я понимаю! — сказал Люмис.

Он повалился на кровать, цепляя крючками краг о золотую вышивку синего шелкового одеяла.

«Это» включало решительно все — роскошный номер, обои с рисунком «павлиний глаз», Европу, зеркало в золоченой раме, девушку, вино и ощущение: «Наконец-то добрались и теперь попробуй кто выгнать нас отсюда!».

Крэбтриз поцеловал Терезу и смеясь объяснил, что вовремя не успел получить свою долю, — снайперы помешали.

Тереза позволила поцеловать себя — он ведь еще маленький, даже борода не растет, только пушок на подбородке и на верхней губе.

Люмис снял каску и плащ. Тереза увидела его жидкие темные волосы, слежавшиеся под каской.

Он потянулся и подмигнул Крэбтризу. Потом, приподнявшись, обнял Терезу.

Она отстранила его.

— Ты не хочешь?.. — спросил Люмис.

Она засмеялась. До чего же они прямолинейны! Чужие люди в чужой стране! Они плыли через огромный океан, им тоскливо, а она в своем новом мире так богата, она может поделиться с ними... Но зачем так сразу?..

— Я голодна, — сказала она.

Это Люмис понял. Он тоже был голоден. Они извлекли из корзинки курицу и набросились на нее. Сало стекало у них по подбородкам, по пальцам. Люмис выбрал одну из бутылок и послал Крэбтриза в ванную за стаканами. Он ударил бутылку горлышком о край стола. Горлышко отломилось, красное вино потекло на ковер, Люмис рассмеялся: он подумал о доме, что сказала бы Дороти, если бы он пролил вино на ковер в их столовой? Но он, благодарение богу, не дома!

Они чокнулись и выпили. Люмис только теперь почувствовал, как у него пересохло в горле. Он налил еще по стакану.

— Тебя зовут Тереза? Очень красиво, очень мило. Ну, пей, пей, вино хорошее, оно нам даром досталось.

Она отпила глоток.

— Да разве так пьют? Нужно до дна, вот так, понятно? У нас в Америке не полагается отставать.

Он опять засмеялся, посадил ее к себе на колени и стал поить из стакана.

Она отбивалась. Потом перестала. Он желает ей добра. Хочет угостить ее, так зачем же его обижать? Он солдат, но не простой солдат, он принес им новый мир — ей, и Мантену, и тем, кто стоял с ними за поваленным автобусом. Поэтому он и хочет с ней поделиться и вином, и курицей, и всем, что у него есть. А выражать свои чувства более деликатно ему трудно. Ведь он — солдат.

Крэбтризу очень понравилось, как Люмис откупорил бутылку, и он решил тоже попробовать. Он отбивал одно горлышко за другим, и они еще долго пили после того, как курица была съедена и кости запрятаны под ковер у кровати.

Люмис завел какой-то длинный рассказ, из которого Тереза почти ничего не поняла, — что-то про Америку, где он играет очень видную роль. Наверно, он видный человек, думала она; он приехал в Париж на собственной машине, остановился в этом огромном отеле, снял самый роскошный номер.

Он дал ей сигарету. Она давно не курила, несколько недель, а может быть, и месяцев. Она затаилась, и у нее закружилась голова. Что это он говорит? Рассказывает о женщинах, которых он знал. Вероятно, привирает, но не все ли равно? Он высокий, крепкий мужчина, конечно, он нравился многим женщинам. Он и ей как будто нравится.

Люмис откупорил бутылку коньяка; он и Крэбтриз пили коньяк из стаканов.

Тереза пыталась объяснить, что так не полагается — коньяк пьют понемножку, со вкусом, из маленьких рюмок, его нужно подержать на языке, а потом уж проглотить и почувствовать, как тепло разливается по всему телу. А так нельзя! Он же крепкий! Это не вода и не вино!

Но они не давали ей отставать, они грубо торопили ее. Как научить их в такой короткий срок? Всякий раз, как они не хотели понимать, они отвечали: «не понимай»...

— Меня зовут Виктор Люмис, понимаешь? Тебя зовут Тереза, а меня — Виктор. Называй меня «Вик».

— Виктор Люмис, — повторила она, — Вик! — И ее стал разбирать беспричинный смех. Она погладила маленького по голове, по мягким выющимся волосам. Глупый какой мальчик, когда-нибудь попадет в беду, какая-нибудь женщина жестоко над ним посмеется. Но сейчас хорошо, что он здесь, что она не одна с Виком.

Какая тяжелая у нее голова! Хоть бы они дали ей поспать. Кровать здесь такая большая, мягкая, куда лучше, чем у нее, хоть одеяло все в грязи от башмаков американца, который велел ей называть себя «Вик».

Вик сказал что-то мальчику, она не разобрала слов, но увидела, что он указывает на

дверь в ванную. Зачем Вик посылает его туда? Наверно, мальчик совсем пьян.

А потом она оказалась одна с Виком.

Люмис потянулся к бутылке с коньяком. Бутылка была пуста. У всех остальных бутылок горлышки были отбиты — значит, и они пустые. Люмис наморщил лоб, собираясь с мыслями. Наконец, он сообразил, что нужно сделать. Он шатаясь подошел к телефону и велел вызвать Макгайра.

— Мой шофер, да, конечно, он должен быть тут, — у вашего чортова подъезда, в джипе... Не знаете, что такое джип? Маленький такой автомобиль, открытый, да найдете, что там... Скажите, чтобы принес мне выпивки, говорит капитан Люмис — Л-ю-м-и-с!.. Есть у него вино, я знаю... здешние жители даром отдают, — только сиди в джипе и принимай... Свобода, равенство — ну, быстренько, понятно?

Он повернулся к Терезе.

— Видала? Стоит только приказать — и готово. Он обнял ее.

— Ах, бедное платьице, такое миленькое, а теперь все смялось, — сказал он с искренним сожалением.

Она стала вырываться.

Тогда он положил ей руки на плечи и посмотрел прямо в глаза пьяными, злыми глазами.

— Ну, знаешь ли, хватит, — сказал он. — Ты что, когда шла сюда, не знала, зачем идешь? Будет артачиться.

У нас в Америке так не играют. А тем более в Париже, чорт подери!

Она приложила палец к его губам.

— К чорту! — заорал он.

— Тише!

Маленький все не возвращался. Может быть, они сговорились?

Она указала на растворенное окно.

Он закивал понимающе, схватил со стола два стакана с остатками коньяка и, сунув один стакан Терезе, повел ее под руку к окну спускать занавеску.

Она пыталась вырваться, убежать в глубину комнаты, но он держал ее руку, как в тисках. И вдруг она увидела, что он кому-то машет рукой.

У другого окна отеля Скриб, прямо через двор, тоже стояли мужчина и женщина, совершенно голые. Мужчина, высунувшись из окна, крикнул «Хелло, Люмис!» и поднял стакан, другой рукой указывая на женщину.

— Хелло, Уиллоуби! — крикнул Люмис в восторге и тоже поднял стакан.

— Веселый денек! — воскликнул Уиллоуби. — Вы как там, хорошо проводите время?

— Неплохо, сэр, неплохо! Развлекаемся, как умеем.

И тут в комнату вошел Макгайр. Он стучал, но ему никто не ответил. Он увидел все. Увидел Люмиса и Терезу, а в противоположном окне — майора с женщиной.

Макгайр тихонько поставил бутылку на пол и вышел.

Он пожалел, что принес вино. У того парня, от которого он получил его в подарок, пока ждал у подъезда, было такое славное лицо.

* * *

Наконец, он отстал от нее, и она свободна. Терезе хотелось все забыть, но она знала, что до конца дней будет чувствовать себя опоганенной.

Когда она сказала «нет» и закричала, он пригрозил ей: «Это что за штучки? Ты не хочешь? Так я тебя заставлю».

А теперь он заснул. Из ванной доносился тихий, похожий на всхлипывания, храп мальчика.

Тереза стала одеваться. Тише, ради бога, тише, только бы не разбудить его...

Это было главное — уйти отсюда. Во рту у нее пересохло, стучало в висках, мысли

путались. Да, она пришла сюда вместе с двумя американцами.

На что она рассчитывала? У нее на глазах они принимали от народа еду и вино; так с какой стати им отказываться от женщин? Но еду и вино дарили от чистого сердца, от избытка счастья и благодарности...

Мы стояли у окна и пили. В комнате было жарко или это мне было жарко — не все ли равно? Конечно, я могла бы выскочить в окно. Сколько тут этажей? Три, четыре, пять. Меня подобрали бы и увезли. И смеялись бы — «пьяная». Конечно, я была пьяная. Пей до дна! Да нет же, надо подержать коньяк на языке, прочувствовать, оценить дар божий. Дар божий! — он им не за труды достался. А за что? Приехали в Париж в своих грязно-зеленых машинах, выгнали бошей, завезли ее в отель Скриб и заснули пьяным сном. Чего же им и не лакать коньяк стаканами? Кто им запретит?

А мальчик-то! Ну, конечно, они сговорились. Но в ванной мальчику, наверно, стало плохо, и он не мог вернуться. А теперь придет и увидит — никого нет, один только Вик. Бедный малыш! Ведь плыл издалека, и все зря. Плыли в Европу как герои.

До чего они были великолепны! Солнце светило ей в лицо, когда она вышла из-за баррикады, и они, залитые светом, стояли в своей машине как победители. Кто мог устоять перед ними? Разве можно было не броситься к ним? Все так и делали. Ведь пока не явились они, залитые солнечным светом, не было жизни. Все бросились к ним — а потом раздались выстрелы. Она беззвучно рассмеялась. Ну да, вспомнила — большой американец, победитель, спрятался за ее спиной.

Свобода!

Колокольный звон, цветы, поцелуи, вино. Только сегодня мне открылась вся сладость слов, которым учила меня мать.

«Если не хочешь, я тебя заставлю. Не знаешь разве, зачем шла сюда? Нечего артачиться. Лучше выпей».

Между Моншо и Люксембургом

Первые донесения, полученные генералом Фарришем в его штабе на границе бассейна Саара, были отрывочны и так же туманны, как погода в эти дни. Было ясно только одно, что на участке фронта, далее к северу, между Моншо на левом фланге и Люксембургом в центре расположения американских войск, началось сильное оживление. В том секторе, где находилась его собственная дивизия, все оставалось спокойно и без перемен и, если можно было положиться на сводки Каррузерса, обещало и впредь оставаться в том же положении.

Мало-помалу сводки стали поступать чаще. Они были уже не так коротки, и картина начала вырисовываться более ясно.

Фарриш сидел над картами. Опасность была очевидна. Он видел всю простоту немецкого плана, любовался им; как образец маневренной войны вся операция представлялась ему блестящей.

— Разрезать нас пополам, только и всего! Грандиозно! — восклицал он. Потом, обернувшись к Каррузерсу, сказал: — Созовите совещание. Немедленно. Всех, вплоть до батальонных командиров. Там на дороге есть амбар, кажется, он достаточно велик и вместит всех. Прикажите осветить его и перенести туда карты.

Фарриш мог бы выбрать для совещания приличный дом, но романтический амбар показался ему более подходящим для такого экстренного случая. Стоял жестокий мороз; ветер врывался в щели между балками, а солому давным-давно почти всю растаскали. По трем сторонам амбара шли узенькие мостки. Свет был направлен прямо на карты, которые занимали большую часть передней стены, и потому видны были только ноги офицеров, сидевших на мостках. Многим пришлось сидеть на полу, и чем выше был чин офицера, тем больше ему подкладывали соломы.

Фарриш стоял перед своими картами в позе дирижера. Над собравшимися подымался пар от дыхания и слышался сдержанный говор. Все разговаривали главным образом о

холодах и гораздо меньше о том, зачем их сюда позвали.

Наконец, Фарриш уверился, что пришли почти все. Он откашлялся, и все стихло.

— Господа! — сказал он, — я очень рад сообщить вам, что военные действия возобновились.

Уголки его губ иронически приподнялись.

— К несчастью, это произошло не по нашей инициативе.

Он зашагал перед картами. На поворотах он останавливался и покачивался, переступая с носков на пятки. — Кое-кто был захвачен врасплох. — Он покачался на носках. — Довожу до вашего сведения, что это не критика. — Он опять покачался. Смех в зале.

— И смеяться тут, чорт возьми, нечему! — Опять покачивание.

Мертвая тишина.

— Обстановка, повидимому, такова: немцы продвигаются где-то здесь, — его правая рука с растопыренными пальцами шлепнула по Арденнам, — на участке фронта, простирающемся вот отсюда и до сих пор... — Генерал пустил в ход обе руки, держа стэк в зубах.

— Главный удар направлен вот сюда! — Кулак Фарриша накрыл северную часть Люксембурга и Бастонь. — План, очевидно, заключается в том, чтобы пробиться на северо-запад, выйти на равнину, захватить обратно Антверпен, Брюссель взять в клещи; может быть, занять Париж.

Стэк опять у него в руках и обводит очертания клещей.

— Вот как сделал бы я; и, судя по имеющимся у меня весьма скудным сведениям, полагаю, что это и есть их план. Они пытаются отрезать англичан и Девятую армию от Первой и Третьей армий; если возможно, они попытаются уничтожить Первую армию. Должен сказать, господа, что прорыв им удался!

Лицом к слушателям, держа стэк обеими руками, он опять покачивался с носка на пятку.

— Существуют островки сопротивления. Я не знаю, сколько времени они могут продержаться. Силы неприятеля мне точно неизвестны, но они безусловно довольно значительны и весьма подвижны. Мы можем противопоставить им только тыловые части, обоз, военную полицию, бог весть что.

Фарриш выдержал паузу, давая слушателям время усвоить все значение катастрофы. Его офицеры, — он сам лично выбирал почти каждого из них, — были явно подавлены. Сидевшие на мостках перестали болтать ногами.

— Ну и дела! — сказал кто-то.

Коротким, быстрым движением руки Фарриш прекратил начавшийся было шепот.

— Господа, мне не нравилась война в эти последние месяцы. Как в Нормандии, когда мы воевали против изгородей; успехи были очень слабые, а доставались они нам дорого. Теперь немцы высунули голову, и мы постараемся, чтобы она попала в петлю. Когда генерал Паттон призовет нас затянуть покрепче эту петлю, я хочу, чтобы моя дивизия была готова первой выполнить эту задачу. Благодарю вас, господа.

Дивизия Фарриша двигалась на север.

Радисты между делом слушали сообщения обеих сторон. К тому времени как колонна подошла к Люксембургу, люди приблизительно знали обстановку. И так как слухи подчеркивали темную сторону картины, ко всему этому шепоту, ропоту и воркотне примешивались панические нотки.

Черелли заговорил о «тиграх» и заметил, что американцам нечего выставить против них. Потом добавил с глубоким вздохом:

— А помните, как мы катили по Франции? — По сравнению с настоящим это казалось увеселительной прогулкой.

Пух на подбородке и верхней губе Шийла покрылся инеем от его дыхания. Он закрывал лицо руками в перчатках, стараясь отогреть щеки, и его голос звучал глухо: — Не люблю никаких разъездов. Наездился на своем веку. Когда война кончится, я обзаведусь

своим домом и буду сидеть на одном месте, да, черт возьми, на одном месте!

Из глаз Трауба раздражающе и упорно текли слезы. Он обмотал шарф плотнее вокруг головы, надвинул ниже вязаный подшлемник и поверх всего этого нахлобучил каску.

— Ну, и вид у нас! — сказал кто-то.

— Куда мы едем? — спросил Шийл.

— Да уймитесь вы! — сказал Лестер.

Черелли затеял драку из-за того, что Шийл, повернувшись, нечаянно ударил его саперной лопаткой. Лестер перегнулся и разнял их; Клей заступился за Черелли, а Трауб кричал, что Шийл не виноват; скоро все перессорились и унялись только потому, что негде было размахивать кулаками в тряской, вихляющейся машине, битком набитой людьми и поклажей. Озябшие и усталые, они сердито глядели друг на друга, с ненавистью думая о том дне, который свел их вместе, ненавиздя и сей день и все грядущие дни.

* * *

Ночь наступила рано, черно-серая, промозгло-холодная Ночь.

Сержант Лестер продвигался вперед, согнувшись над своим автоматом, едва видный Шийлу, который шел за ним. Позади них, справа и слева, молча, в шахматном порядке двигались отделения; слышно было только шлепанье ног по мокрому снегу и жидкой глине, иногда трещал тонкий лед, ломаясь под башмаками солдат. Они могли слышать друг друга, но не видели ничего, кроме смутных очертаний идущей впереди фигуры.

Они вышли из леса на оголенную, холмистую равнину, не зная, что ждет их впереди; но Трои сказал им, что они должны продвинуться вперед, что ночь и туман защищают их, так же как и немцев, и что они могут наткнуться на противника неожиданно и захватить его врасплох.

Фулбрайт был где-то в центре наступающего клина. Он старался держать связь со своими флангами и с Лестером на острие клина; по временам один из солдат выходил из строя и, отыскав в темноте лейтенанта, докладывал, что пока они ни с кем еще не повстречались.

Где-то позади них была остальная рота; она выходила из леса, следуя за клином лейтенанта Фулбрайта. Контакт надо было держать через связных и по радиотелефону, если всякий другой будет утрачен, что вполне могло случиться в темноте. Если Фулбрайт встретил бы усиленное сопротивление, он должен был отойти и подождать главные силы роты. В остальном многое зависело от решения самого Фулбрайта.

Люди медленно продвигались вперед по холмам, поднимаясь и опускаясь, словно флажки на рыбацкой сети, колеблемые течением.

Лестер был совсем один. Он прислушивался к своим шагам, словно они были не его, а чьи-то чужие. Долго ли может человек выдерживать такое, оставаясь в своем уме? Уотлингер был хороший парень, но его разорвало в клочки; говорят, видели, как его рука летела по воздуху, все выше и выше, прямо на небо. Интересно, примут ли там одну руку вместо всего человека. Душа вряд ли находится в руке, скорей она где-нибудь в сердце, в животе или в мозгу, только не в руке.

— Шийл! — прошептал он.

Шийл осторожно подвинулся вперед.

— Как ты думаешь, где у тебя душа?

— Чего?

— Ведь ты слышал!

— Совсем рехнулся, — сказал Шийл и отступил назад. Шийл окликнул Трауба, шедшего позади него.

— Эй, Трауб!

— Ну?

— Лестеру хочется знать, где у него душа.

— Черелли! — прошептал Трауб.

— Что тебе!

— Ступай к Лестеру, он хочет спросить тебя кое о чем. Черелли, спотыкаясь, пошел вперед.

— Ну, в чем дело, Лестер?

— Ни в чем. Там, сзади, что-нибудь случилось?

— Нет, все в порядке. Они говорят, тебе что-то нужно.

— Мне? Ровно ничего. погоди минутку! Видишь ты свет — вон там.

— Нет.

— А слышишь что-нибудь?

— Нет.

— Есть какая-нибудь разница между сном и явью?

— А я почему знаю!

— Давно мы так идем?

Черелли взглянул на часы, но стекло запотело. Лестер сказал: — Ты когда-нибудь пробовал следить за своими мыслями?

— Откуда ты берешь выпивку? Уступил бы мне! Я тоже хочу встряхнуться!

— Пошел назад! — скомандовал Лестер. — Пошел назад, а не то тресну!

— Ладно, ладно!

Почва под ногами Лестера вдруг стала твердой. Он опомнился в одно мгновение. Под снегом чувствовалось что-то вроде дорожного полотна: вправо и влево уходила в темноту какая-то прямая белая полоса, а густые тени по ее сторонам могли быть и деревьями, и телеграфными столбами. Ясно, что это дорога, она тянется с востока на запад, и где-то влево она должна пересекать шоссе из Люксембурга, идущее с юга на север, по которому они ехали вчера ночью. Теперь Лестер мог ориентироваться. Он велел передать Фулбрайту, что он вышел на дорогу и что она, по-видимому, свободна.

Получив это сообщение, лейтенант приказал радисту связаться с капитаном Троем и передать ему, что они вышли на дорогу, собираются пересечь ее и двигаться дальше вперед.

Тем временем Лестер перешел дорогу, и солдаты спешили перейти ее вслед за ним. Одолев невысокую насыпь, он снова очутился среди волнистой обледенелой равнины. Он замедлил шаг и только тогда снова его ускорил, когда уверился, что весь его взвод пересек дорогу.

У человека, достаточно долго пробывшего на фронте, развивается особое чутье, предупреждающее его об опасности. Оно похоже на инстинкт боксера, который увертывается от удара, прежде чем этот удар нанесен противником.

Когда грохот гусениц донесся до солдат, никто не говорил им, да и не было никого, кто мог бы им сказать, что немецкая танковая колонна движется по той самой дороге, которую они только что пересекли с такой осторожностью.

Это была одна из тех подвижных танковых колонн, которыми немцы пробили словно пунктиром всю линию фронта и с помощью которых они углубляли прорыв. Взвод Фулбрайта был просто камешком на их пути; он неосмотрительно вырвался вперед, введенный в заблуждение тишиной ночи. А будь это пятью минутами раньше, или пятью минутами позже, их дороги никогда не скрестились бы.

Лейтенант Фулбрайт обдумывал и это, и многое другое. Он надеялся, впрочем очень недолго, что его маленький отряд ускользнет от внимания немецких танков, что темнота и туман укроют его солдат.

Но немцы их увидели. Маневрируя вокруг отряда, они отрезали его с трех сторон и начали обстреливать, без разбора поливая землю смертоносным дождем пулеметных очередей...

Капрал Клей видел, как немецкая пехота окружает со всех сторон его, Черелли, Шийла и еще нескольких солдат, оставшихся от всего взвода. Пехота, должно быть, ехала на полугусеничных машинах за немецкими танками. Немцы стреляли и подходили ближе,

стреляли и подходили ближе. Капралу Клею хотелось жить. В эту минуту в нем звучал всепобеждающий голос: «Нет, нет, нет! это не конец, это не может быть конец, не здесь, не так, не теперь». Он оглянулся, ища кого-нибудь старше себя чином, кто мог бы приказывать. Если бы кто-нибудь приказал ему: «Стреляй! Дерись!», он бы стрелял и дрался, потому что был неплохой солдат, но он привык, чтобы им командовали. Но некому было приказывать, и только внутренний голос кричал ему, что лучше жить какой угодно жизнью, чем удариться о землю, об эти борозды, камни и мертвые тела, о снег, потемневший от грязи, крови, — и больше не встать.

Капрал Клей бросил свой автомат и поднял руки вверх. И другие солдаты из взвода лейтенанта Фулбрайта, те, что остались живы, тоже бросили оружие и подняли руки вверх.

* * *

Фарриш был на фронте.

Солдаты ненавидели его. Они знали, что он погонит их вперед. При нем придется итти днем и ночью; ни отдохнуть, ни присесть, ни вытянуть ноги. Леса начинали гореть, горы рушились вокруг, а люди у орудий все стреляли, пока не валились с ног; нервы у них были натянуты до предела.

Фарриш был похож на большую зловещую птицу: там, где он появлялся, смерть косила людей. Солдаты желали ему гибели, но пуля не брала его.

Медленно, медленно Фарриш продвигался на север. Нельзя было сказать, что положение на фронте изменилось. Немцы по-прежнему продвигались на запад, бросая свежие части на укрепление своего клина и углубляя его. Небо все еще было покрыто тучами, авиация оставалась прикованной к земле, и вся армия, как слепой, искала дорогу ощупью, падая и поднимаясь для того только, чтобы снова упасть.

Но и немцы далеко не достигли своей цели. Они еще не взяли Антверпена. Бронетанковые острия клина кое-где дошли до реки Маас, но нигде не закрепились, и американцы взрывали свои склады горючего, а с ними вместе погибли заветные мечты маршала Клемм-Боровского.

Фарриш побывал и в третьей роте. От нее осталось не больше половины. Кто-то из солдат сказал: — Ну его к чорту. Я ни для кого вставать не собираюсь, и для него тоже.

Фарриш и не просил никого встать.

Он прислонился к стволу дерева и носком сапога рисовал узоры на снегу.

— Я знаю, каково вам, — сказал он. — Я и сам устал, чорт возьми. Хуже этого с нами никогда не бывало. Если мы не продвинемся вперед, нам не сдобровать. Если мы отступим, нам тоже не сдобровать. Имейте в виду, исход войны решается именно здесь, сейчас. Мы должны итти вперед. Вот как обстоит дело.

Несколько позже Трои сказал ему: — Сэр, вы требуете больше, чем люди могут сделать!

— Я не спрашивал вашего мнения, капитан Трои!

Но Трои не склонен был уступать: — Сэр, я его все-таки выскажу. Это мои люди. Это не только цифры.

Фарриш посмотрел на него и усмехнулся. У него были удивительные зубы: блестящие, белые. Трою сильно хотелось выбить их кулаком.

— Это *мои* люди, — сказал Фарриш, — они все мои. И прошу вас не забывать этого.

В тот вечер они снова пошли в атаку, и их снова задержали.

* * *

Крэбтриз вернулся с радиостанции. Он попал под обстрел: снаряды ложились в нескольких сотнях шагов от того места, где он стоял, и теперь по его смазливому лицу было видно, до какой степени он потрясен. Он сказал Люмису: — Это было похоже на огонь

снайперов, вот когда мы входили в Париж, только гораздо сильнее, гораздо больше... — Он опустил на стул и хотел затянуть пояс на своей тонкой талии, но пряжка соскочила и он так и не затянулся.

— Почему вы молчите?

— А что мне говорить? — спросил Люмис.

— Сколько времени это продолжится? Капитан пожал плечами. — Отвяжитесь от меня!

— Надо же мне с кем-нибудь поговорить!

— Зачем?

— Не знаю... Такое делается. Я чувствую себя как в западне. Не для этого я сюда ехал.

— И другие не для этого ехали.

— Там, на радиостанции все занимались своим делом, даже штатские... А я не мог. Я заперся в уборной, — но пришлось выйти; я боялся, что снаряд попадет в нее, пока я там сижу...

— И хорошая там уборная? — сказал Люмис.

Крэбтриз взглянул на него исподлобья. — Сукин сын... — сказал он и вышел.

Он долго шагал по пустым коридорам и наконец заглянул в комнату, где висели карты. Перед одной из карт стоял Иетс и пристально разглядывал ее. Линия фронта имела такой вид, словно на ней развилась подагрическая шишка, безобразная, огромная, и не требовалось сильного воображения, чтобы представить себе, сколько крови и муки она вобрала в себя.

Крэбтриз подошел к Иетсу.

— Что вы об этом думаете?

Иетс с первого взгляда понял, что творится с Крэбтризом. Но он нисколько ему не сочувствовал. Другое дело Абрамеску, тому он постарался бы помочь, но не Крэбтризу, прихлебателю Люмиса, — этот, даже когда все шло хорошо, не стоил бумаги, на которой было напечатано его личное дело.

— Думаю, что все кончится благополучно, — равнодушным тоном сказал Иетс. — Сто первая дивизия еще держится под Бастонью. Она отрезана.

— Нас тоже могут отрезать...

— Как там на радиостанции?

— Отчаянное положение, — сказал Крэбтриз.

— А что такое? Немцы атакуют?

— Стреляют со всех сторон.

— Вот как!

— Почему бы вам самому не заглянуть туда? Вы бы тогда так не храбрились, — огрызнулся Крэбтриз.

— Потихе, пожалуйста.

— Я вас терпеть не могу! — с неожиданной злостью сказал Крэбтриз.

— Подите вы, знаете, куда.

— Как не знать! — вскипел Крэбтриз. — Туда, где меня убьют из-за вас.

— Из-за меня?

— Ну да, из-за вас! Конечно! Вам ведь нравится эта война?

— Подите проспитесь.

— И пойду, и пойду! — угрожающим тоном сказал он. Крэбтриз спустился в подвал, где находилась каморка, служившая ему кабинетом. Из нагрудного кармана он достал альбомчик в переплете свиной кожи, раскрыл его и поставил перед собой на стол. На фотографии было написано: «Моему солдатику — от мамы». Он пристально смотрел на карточку своей матери, строгой дамы с резкими чертами лица, и с карточки на него смотрели критическим взглядом ее зоркие небольшие глаза.

Он не солдат, и мама это знает, но у мамы всегда были преувеличенные представления обо всем, даже о себе самой. А теперь она сидит там, в Филадельфии, и хвастает, что она тоже внесла свою лепту, что ее мальчик стал теперь солдатом. Она все-таки получила что-то

от войны, все другие что-то получали, все, кроме него, который застрял тут, в Арденнах.

Он ненавидел Иетса, ненавидел Люмиса. Ему хотелось, чтобы в его власти было наказать их обоих; он придумывал разные планы, но все они никуда не годились. Все равно немцы наступают.

Отрезаны. Это начало конца. Он видел, как это будет: весь город заполонят фашисты; они ворвутся в здание радиоузла... «Очень жаль, солдатик, тебя поймали с этими людьми, вместе с ними и повесят!»

Нет, если до этого дойдет, он будет защищаться. Он достал свой пистолет, порылся в столе и вытащил шомпол и тряпку. Он взвесил оружие на руке: внушительная, надежная вещь. Мама, верно, заплакала бы, увидев его с пистолетом.

Надо быть поосторожней. Бывает, что люди себя ранят, чистят оружие, — самый обыкновенный случай. Но это противно. Говорят, человеку нужно быть очень храбрым, чтобы искалечить себя. Если тебя ранят в бою, ты не видишь, что и когда тебя ударило; а тут ты знаешь; ты сам выбираешь время... Очень практичное оружие кольт, действительно, чудо современной техники! Надо потянуть вот так, чтобы патрон вошел в барабан, — клик! — и в то же время курок взводится. Сразу видно, какое это хорошее оружие и какие меры приняты против несчастных случаев! Надо взяться за ручку таким образом, чтобы предохранитель — простая металлическая полоска, легко поддающаяся нажиму, — опустился, и только тогда можно стрелять.

Он положил пистолет на стол. Солдатик отрезан от всех, попал под обстрел, остался совсем один... Если бы думать об этом при ярком свете солнца, тогда, конечно, было бы не так тяжело, но солнца нет. Здесь внизу, в этой камерке, всегда горит электричество, а наверху унылое небо застлано тучами и, если как следует прислушаться, доносится грохот орудий.

Он вздохнул и опять взялся за пистолет. Попробовал вытряхнуть патрон, но он застрял. Он опять встряхнул пистолет и постучал им об угол стола. Он открыл его и испытующе посмотрел на круглую, блестящую, неподатливую штучку в патроннике. Он держал пистолет далеко от себя, обеими руками — дулом вниз, как предписывают правила. И вдруг что-то соскочило, громко прозвучал выстрел, отражаясь от низких стен камерки. Невыносимая боль насквозь пронизала солдатика; едкий дым плавал вокруг него. Он услышал, как оружие, выскользнув из его ослабевших рук, упало на пол. Потом и он упал, потеряв сознание.

* * *

Люмис ни на минуту не поверил, что это был несчастный случай. Крэбтриз очень метко попал себе в ногу, и доктор сказал, что, может быть, придется отнимать ее. Его отсылали в тыл, в этапный госпиталь в Вердене; дорога через Арлон была еще открыта.

Люмис удивлялся, откуда у Крэбтриза взялась такая храбрость. В самом деле, удивительно, он никогда не думал, что Крэбтриз на это способен — и очень жаль, что не знал, иначе он не выгнал бы его из кабинета. Он бы выслушал несчастного сосунка. А какой жизнерадостный малый был этот Крэбтриз! Никогда не жаловался, всегда готов был пошутить, а теперь вот он уехал.

Крэбтриз уехал, а он, Люмис, остался — как раз, когда тут заварилась такая каша и нельзя не понять, что дело дрянь. Всякий может сопоставить значки на картах с выражением лица у тех, кто отправлялся на передовую или возвращался с передовой, да и Уиллоуби приказал: «Укладывайтесь!» Люмис уложился, был готов к отправке в любую минуту. А какой от этого толк! Хоть и на вещевых мешках, а просидишь лишний час и попадешься немцам со всеми пожитками. Приходится отдать должное Крэбтризу: решился и выполнил свое решение как мужчина.

Но Уиллоуби кричал, что это позор, и пускай Крэбтриз попробует доказать, что это несчастный случай. Чистил оружие! Скажите, пожалуйста!

— Он просто хотел смыться, — унылым тоном сказал Люмис. — Это легко понять.

Уиллоуби вспыхнул. — Или мы все смоемся, или никто!..

Сержант Дондоло

У Пита Дондоло был приятный голос. Когда он еще ходил в начальную школу, учительница мисс Уокер бывало говорила: — Если бы ты мог учиться петь, Дондоло! — И при этом глядела на мальчика, склонив голову набок, точно птица, которая не знает, улететь ей или остаться. Пит нахально смотрел ей в лицо и не отвечал ни слова. Еще что — учиться петь!

Дондоло никогда не занимался своим голосом. Но в глубине души он гордился им. Он знал, как нужно переводить дыхание и как прижимать язык к нёбу, чтобы звук получился чистый и громкий, громче, чем у других. Он умел придать своему голосу такие интонации, что Лина, его жена, бледнела от страха и спешила укрыться в кухне. После рождения второго ребенка она расплылась и постарела, и он уже иначе с ней не разговаривал.

Потом он открыл в себе еще один талант. Он с легкостью мог подражать речи любого человека, его произношению, голосу, манере говорить. Когда Лина звала своего старшего сынишку Ларри, она никогда не знала, кто ей отвечает — мальчик или Дондоло, и со страху совсем перестала звать его. Однажды на предвыборном собрании в Десятом городском районе выступил кандидат оппозиции. Марчелли — политический босс Десятого района — не терпел оппозиции. Дондоло взял слово после кандидата и так ловко повторил его речь, подражая всем интонациям и жестам, извращая и переиначивая смысл сказанного, что злополучного оратора подняли насмех, и ему пришлось спасаться бегством. Даже Марчелли с трудом удалось сохранить серьезное выражение лица, и он сказал Дондоло: — Да ты прирожденный актер, Пит!

Война оборвала политическую карьеру Дондоло в Десятом городском районе. Он пытался увильнуть от службы в армии. Марчелли говорил: — Эта война — нелепость. Все равно, как если бы я стал воевать против Ши (Ши был боссом Четырнадцатого района). С какой стати мне драться с Ши, если я могу с ним сговориться полюбовно?

Марчелли пообещал заботиться о Ларри и его младшем братишке Саверио. Но Дондоло все-таки беспокоился о них. Он посылал половину своего жалованья и побочных доходов в банк, где открыл отдельный текущий счет для детей. Лина не смела трогать эти деньги, она даже не знала о них. Только Марчелли знал; у него же была и доверенность.

А потом сержанта Дондоло назначили главным поваром в отдел разведки и пропаганды. Здесь было полно людей, с которыми он никак не мог освоиться. Трудно жить в свое удовольствие и обдѣлывать всякие делишки, если нужно все время следить за собой и соблюдать осторожность. Впрочем, он не совсем был одинок. Нашлись и единомышленники — вот хотя бы Лорд, главный механик, и Вейданек, помощник повара. Эта троица быстро нашла способ держать в руках всех остальных. Ибо большинство солдат хотели только делать свое дело и не впутываться ни в какие истории, — и это, по мнению Дондоло, свидетельствовало об их слабости.

И тут актерский талант Дондоло очень пригодился ему. У него был зоркий глаз и тонкий слух, и он не знал жалости. Он передразнивал все слова и движения своей жертвы, делал из нее посмешище, и против этого не было защиты. Как тут бороться — это же только для смеха. В случае чего Дондоло всегда мог сказать, что он просто шутил. И Люмис за него заступится. Люмис боится его; у этого капитана хороший нюх, он знает, в чьих руках сила.

В этот вечер Дондоло наметил себе в жертвы Абрамеску. После того как совещание офицеров кончилось, Крерар вызвал Абрамеску и продиктовал ему донесение Девиутту. Донесение пришлось перепечатать на машинке и отправить в узел связи. Поэтому Абрамеску опоздал к ужину.

Дондоло, как всегда, подал сигнал к атаке ироническим вопросом: — Что такое?

Это «что такое?» стало его боевым кличем. Случалось, что солдаты, задумавшись, забывали о том, что они на войне, не замечали окружающего, и когда что-нибудь грубо

возвращало их к действительности, они, словно со сна, спрашивали: «Что такое?». Дондоло, который никогда ничему не удивлялся и любое явление принимал, как оно есть, только думая о том, как бы извлечь из него пользу, этот вопрос смешил доупаду.

— Что такое? — повторил он, и Лорд и Вейданек, услышав сигнал, вышли из палатки, где помещалась столовая.

— Я хочу есть, — сказал Абрамеску, протягивая котелок.

— Он хочет есть! — сказал Дондоло. — Скажите пожалуйста, он хочет есть, — повторил он громче, словно обращаясь к толпе зрителей. Лорд и Вейданек засмеялись. — Является после положенного времени, и, видите ли, он хочет есть! — Дондоло подбоченился и, так сильно выставив вперед нижнюю челюсть, что жилы на его бычьей шее надулись, наклонился к Абрамеску: — Здесь не ресторан, понятно? Опоздал к ужину, жди завтрака. Что такое?

Абрамеску все еще протягивал свой котелок. Он был голоден. Он всегда был голоден. Его коренастое тело требовало большого количества пищи. Абрамеску очень заботился о своем здоровье.

Дондоло схватил половник и выбил котелок из протянутой руки Абрамеску. Котелок со стуком упал на землю. Абрамеску нагнулся и молча поднял его.

Потом, с глубоким убеждением в своей безусловной правоте, он сказал: — Солдат, который проработал целый день, имеет право поесть.

— Солдат имеет право поесть! — артистически передразнил его Дондоло. — А у сержанта нет никаких прав, так что ли? А я не работаю? Не встаю в четыре утра? Не парюсь целый день над горячей плитой? Я, значит, не имею права отдохнуть после работы? Я небось не получаю сверхурочных! А я тоже служу в армии, как и ты! Больше ужинов не выдаем!

Если бы Абрамеску разозлился, поднял крик, начал жаловаться всем на несправедливость, Дондоло, Лорд и Вейданек потешились бы всласть над толстеньким капралом и в конце концов дали бы ему поесть. Но Абрамеску молчал. Он просто протягивал котелок, требуя свою порцию. Его большие плоские ступни крепко упирались в землю, светлые глаза глядели спокойно. Это раздражало и злило Дондоло.

Для Абрамеску во всем этом не было ничего нового. Ему приходилось в детстве видеть еврейские погромы. К Дондоло он относился, как ко всякому должностному лицу, облеченному властью. К такому можно приноровиться. Но если это лицо вздумало куражиться, остается только одно: молчать, и пусть поток оскорблений стекает с тебя, как с гуся вода.

Но Дондоло воображал, что придумал нечто новое, и, не достигнув желаемого эффекта, разъярялся все сильнее.

А тут еще Вейданек подлил масла в огонь. — Да ну его к чорту! Дай ему чего-нибудь поесть, — сказал он.

Увидев такое предательство в собственных рядах, Дондоло взбеленился. Вероятно, на это Вейданек и рассчитывал.

Дондоло вышел из-за стола, на котором еще стояли остатки ужина, и толкнул Абрамеску. Не очень сильно, но все-таки капрал покачнулся и его котелок опять упал на землю.

— Так нельзя! — сказал Абрамеску. — Солдат имеет право...

— Ах, нельзя! Вот я покажу тебе...

— Дайте ему поесть, — раздался чей-то голос, — у вас осталась еда!

Уже несколько минут, как Престон Торп, бесшумно шагая по мягкой траве, подошел к ним. Он смотрел на Дондоло, и у него все нутро переворачивалось. Торп терпеть не мог, когда сильные издевались над слабыми; поведение Дондоло претило ему — оно отдавало изуверством, мракобесием, всеми предрассудками, которые его с детства научили презирать.

Дондоло зверем глядел на нового противника. Торп был выше его ростом, к тому же, как видно, жилистый. Дондоло еще ни разу не дерзнул схватиться с Торпом — это был единственный солдат их части, который побывал на войне до высадки в Нормандии. Торп

воевал в Северной Африке, и притом — в пехоте.

— Вы же все равно выбросите остатки на помойку, а он имеет право...

Это переполнило чашу; Дондоло потерял голову. В том мире, к которому он привык, никто не имел никаких прав, там знали только подачки.

На дне большого оцинкованного бака возле стола поблескивали остатки черного кофе. С края бака свисал ковшик на длинной ручке. Дондоло схватил ковшик, зачерпнул и выплеснул кофе Торпу в лицо. Тепловатая жидкость залила ему глаза и на мгновение ослепила его.

И не только ослепила: как только Торп ощутил теплые струйки на своей шее, на груди, между лопаток, он весь оцепенел и обессилел. Теплые, липкие струйки — да это кровь!

Торп громко застонал. Опять! Все вернулось, все, что он старался забыть, нахлынуло на него, захлестнуло...

Тупая боль, сознание, что жизнь капля за каплей сочится из тебя, страх перед вечным мраком, надвигающееся ничто, пустота вокруг, великая бескрайняя пустота. Вот она снова здесь, и он не может ни поднять руку, ни повернуть голову, ни вымолвить слово.

Тоненькой ниточкой в мозгу тянулась мысль: схвати мерзавца, поколоти его, убей. Но ужас владел им; он смертельно боялся прикоснуться к чему-нибудь, а еще больше — как бы что-нибудь не коснулось его. Все мышцы его тела, все нервы сжимались, отказывались от борьбы, искали спасения.

Торп очнулся, почувствовав, что кто-то вытирает ему лицо.

Бинг еще позже Абрамеску пришел за своим ужином.

— Что такое? — пропищал Дондоло.

— Всыпать бы тебе за это, сукин сын, — сказал Бинг.

— А ну! — сказал Дондоло, — давай, выходи! — Он был почти уверен, что Бинг не станет драться. Это грозило бы Бингу военным судом, во всяком случае в части, которой командовал Люмис. Бинг — не такой дурак.

— Выходи! — подзадоривал Дондоло.

— Ишь, как вам не терпится! — Бинг колебался. Дондоло, вероятно, побьет его. К тому же — военный суд. А листовка, война? Важнее драться с немцами, чем с Дондоло. Германия, германская армия, нацистская партия — это миллионы таких Дондоло. Но как воевать против них, если в своих же рядах имеются Дондоло, неистребленные и неистребимые?

— Выродки несчастные! — Дондоло сплюнул. — Все они выродки. Евреи! Иностранцы! Что такое?

Дондоло вдруг осекся. Наступило неловкое молчание. Внезапно земля дрогнула под ногами; раздался глухой гул: американские орудия отвечали немцам.

— Пошли, — сказал Абрамеску. — У меня пропал аппетит.

— Вейданек! — позвал Дондоло. — Так и быть, дай им поужинать.

— Идите сюда, ребята! — крикнул Вейданек. — Получайте!

— Спасибо, не хочу, — сказал Абрамеску, — небось, все остыло.

Дондоло пожал плечами: — Сами виноваты, надо приходиться вовремя.

— Я хотел бы спросить вас кое о чем, Дондоло, — Бинг захлопнул котелок и подошел к сержанту. Дондоло невольно попятился. Он знал, что зарвался. Есть вещи, которые можно думать, можно даже говорить в кругу друзей, но которые нельзя выбалтывать при всех, во всяком случае не сейчас. Что Бинг от него хочет? Бинг — хитрый, он может заманить в ловушку.

— Во имя чего, по-вашему, ведется эта война? — сказал Бинг. — И ради чего вы воюете?

Дондоло напряженно думал. Это было нелегко — бешенство, охватившее его, еще не улеглось. Дондоло не привык рассуждать после драки. В его компании в таких случаях звали полицию или бросались наутек. Но, может быть, эти люди такие трусы, что они хотят вступить в переговоры, помириться, сделать вид, будто ничего не случилось. Если Бинг идет на мировую, что ж, он не возражает. Как никак, а он зашел слишком далеко.

— Я? — уклончиво сказал он. — При чем тут я? Меня призвали — и все.
— Меня тоже призвали. По закону о мобилизации. Но вы же могли отказаться.
— Еще что! И попасть в переделку?
— Вы и так попали в переделку. Слышите, как палят! Момент — и готово. — Бинг щелкнул пальцами.

Дондоло не ответил.

— Должны же вы иметь хоть какое-то представление о том, за что вы умираете.

— Я не собираюсь умирать.

— Понятно, не собираетесь, — спокойно сказал Бинг. — Но это легко может случиться. Лорд, главный механик, который за все время не проронил ни слова, закурил сигарету и сказал: — Дурацкие разговоры.

— Что такое? — сказал Вейданек, неестественно засмеявшись.

Снова заговорила германская артиллерия — на этот раз ближе. Канонада ясно слышалась в тихом вечернем воздухе.

— Глупые разговоры, — повторил Лорд, но без убеждения.

— Вы боитесь смерти, — сказал Бинг. — И не хотите говорить об этом. Конечно, вашим ребятишкам плохо пришлось бы.

— Оставьте моих детей в покое! Это вас не касается!

— Зато вас касается. Вы ради них воюете?

Дондоло опять начал свирепеть: Бинг ударил его по больному месту. Ларри и маленький Саверио — даже упоминать о них здесь нельзя. Ему казалось, что это накличет на них беду, и на него тоже.

— Хватит! — сказал он. — Конечно, я воюю ради детей. И я твердо намерен вернуться к ним. Только из-за таких, как вы, мне и пришлось покинуть их. Если с ними что-нибудь случится, тогда держитесь! Подумать только — тронули каких-то евреев, и вся американская армия плывет через океан! Этот их Гитлер отлично знал, что делает, и Муссолини тоже. Все — шиворот-навыворот. Нам надо было воевать вместе с ними против коммунистов. Коммунисты разрушают семью, все на свете...

— Идите сюда! — сказал Лорд, — берите ужин.

— Я сейчас подогрею кофе, — крикнул Вейданек.

— Нет, спасибо, — сказал Бинг.

* * *

Они стояли втроем на подъемном мосту и, перегнувшись через перила, вглядывались в черную поверхность рва, на которой кое-где в лунном свете белели водяные лилии. Из кухни доносились приглушенные голоса Манон и Полины.

Торп бросил в воду камешек и прислушался к всплеску. На какую-то долю секунды лягушечье кваканье умолкло.

Абрамеску хлопнул себя по щеке. — Комары, — сказал он.

— Убил? — спросил Бинг.

— Нет. — Абрамеску кашлянул. — Комары являются носителями многих болезней, например, малярии.

— Только не здесь.

— Откуда вы знаете? — Абрамеску очень интересовался болезнями. Он постоянно изучал всякие справочники и руководства по профилактике. — В наших частях есть солдаты, которые болели малярией в тропиках. Комар кусает одного из маляриков, потом кусает здорового человека. Таким образом малярия может быть занесена в Нормандию.

— Ну, так закурите. Комары боятся дыма.

— Я не курю, — сказал Абрамеску. — Я не намерен добровольно отравлять свой организм. Кроме того, я не стал бы закуривать в темноте. Ночью пламя спички видно за несколько миль. Это проверено опытным путем. Так можно выдать наши позиции

германским разведывательным самолетам.

Торп снова бросил в воду камешек. — Расквкались, окаянные!

— Если залить этот ров нефтью, — сказал Абрамеску, — личинки задохнутся и комаров не будет.

— Шел бы ты спать, — сказал Торп.

Когда Абрамеску ушел, Торп зажег две сигареты и одну из них протянул Бингу.

— Не зажигать огня! — крикнул кто-то.

— Нервничают, — сказал Торп. — Все нервничают. А я нет. Не потому, что я все это уже проделал. Говорят, чем дольше воюешь, тем больше боишься. Должно быть, так оно и есть. Да я и не говорю, что мне не страшно. Но есть другое, что гораздо страшнее. Вот, как я стоял перед Дондоло и не мог сдвинуться с места. Точно у меня ноги вросли в землю, а руки прилипли к телу. С тобой так бывало? А теперь голова болит. И не могу долго смотреть на воду, эти белые пятна — все кружится перед глазами.

— Тебе надо выспаться. Хочешь, дам аспирину? Мы же никогда не высыпаемся.

— Спать я совсем не могу, — сказал Торп. — Я даже рад, когда немцы бомбят. Жужжат моторы, потом начинается дождь красных, зеленых, желтых огней. Я люблю смотреть, как они падают. Смотрю и забываю про то, другое...

— Про что это?

— Не знаю сам, как объяснить. Все стараюсь понять. Этот мерзавец Дондоло немножко помог мне... как-то яснее стало.

— Зачем ты так много говоришь, если у тебя голова болит?

— Почему ты спрашивал Дондоло, за что он воюет?

— Потому что сам я не знаю, за что мы воюем. У меня есть кое-какие мысли на этот счет, но ни одна не охватывает всего. А я должен написать об этом листовку — сказать об этом немцам. Фарриш велел.

— Фарриш?

— Чудно, правда? Такой толстокожий, что, кажется, у него не голова, а футбольный мяч. А вот поди ж ты, надумал!

— Но тебе надо знать! Что же ты скажешь немцам, если сам не знаешь?

— Мало ли лозунгов.

— А куда они годятся? — Торп ударил кулаком по перилам. — Я все их перепробовал. Повторял про себя, когда лежал в госпитале, когда видел, как люди мучаются. И мне казалось, что все такие мужественные, и только я малодушен. А потом я понял, что они притворяются, так же как и я. И все, кто и не ранен, тоже притворяются. Если бы ты был один, и никто бы тебя не видел, ни товарищи, ни офицеры, — разве бы ты не убежал? Не убежал без оглядки? Мы только потому и держимся, что никогда не бываем одни. В этом весь секрет. Это очень хитро придумано. На людях никогда не решишься сказать, что тебе страшно и что ты хочешь домой.

Из темноты выступил Толячян. — Я был у Люмиса, — сказал он.

— Ну и как? — спросил Торп.

— Сказал, что ему не нравится мое поведение. Что я нарушаю субординацию. И еще сказал, что сам лично позаботится о том, чтобы я больше не вмешивался.

— В его отношения с французами? — Перепалка Люмиса. с мадам Пулэ уже была известна всему отделу.

— Надо думать, что так. — Толячян почесал руку. — Кусаются, черти!

Бинг покачал головой. — Ты смотри, поостерегись. Он из-за тебя при всех в дураках остался. Этому люди не прощают. Особенно такие, как Люмис.

— Все они сволочи, — убежденно сказал Торп, — все. Толячян оперся локтями о перила и сложил большие руки с широкими сильными пальцами. Повернув голову к Бингу, он в темноте старался разглядеть его лицо. — Пусть его, — сказал он.

— А ты подумай о себе! У тебя ведь жена дома, правда? Ты сам рассказывал, как много она работает. Разве тебе не хочется вернуться, чтобы ей было полегче?

— Хочется, — сказал Толачьян, — очень даже хочется.

С минуту все молчали. Торп, который только с трудом и то ненадолго отрывался от мыслей о самом себе, вернулся к прерванному разговору. — Ну и вот, — начал он, — преодолеваешь себя, не бежишь. А потом видишь, что то самое, против чего ты сражаешься, оказывается у тебя за спиной...

— Например?

— Не знаю даже, как назвать. Словами всего не скажешь. Несправедливость. Жестокость. Тупость. Корысть. Тщеславие. Ну и так далее.

— Дондоло, — сказал Бинг.

— Да, и он.

— А что Дондоло сделал? — спросил Толачьян, стараясь понять, с чего начался разговор.

— Что он сделал? — сказал Бинг. — Да все то же. Он и его банда измывались над Абрамеску. А потом принялись за Торпа.

— Проучить бы его надо хорошенько, — серьезно сказал Толачьян.

— Я должен был это сделать. — Торп тяжело вздохнул.

— Ты не лезь, — сказал Толачьян. — Тебе и так уж досталось за эту войну.

Торп махнул рукой. — Дондоло! — гневно сказал он. — Вот это как раз такой тип! А потом выше и выше — Люмис, Уиллоуби, Фарриш! Я помню, как Фарриш обходил наш госпиталь в Северной Африке. Там был один помешанный, после контузии. Стоит он перед своей койкой навтыжку, а Фарриш его честит и честит. Потом уж его перевели в другую палату, куда не пускают посетителей. Верьте, не верьте, а я радовался, что у меня две открытые раны на теле, которые я мог предъявить генералу.

Он тяжело перевел дыхание.

— Мне говорили, что я воюю за демократию, против фашизма. Замечательно, правда? Власть народа, именем народа, для народа. Потом поразмыслил над этим и вижу: каждому волен перерезать горло.

Он замолчал, и все услышали громкое кваканье лягушек.

— У меня был друг, — сказал Толачьян. — Его звали Тони. Он был большой, сильный, а сердце имел детское. Скажи ему, что есть такой ангел, который каждый месяц отрезает серебряные ломтики от луны и раздает их вдовам и сиротам, и он поверил бы, потому что ему хотелось верить в такие сказки.

И вот однажды Тони попал в драку. Это было в Чикаго, во время забастовки. Понятное дело, каждому хочется одеть жену поприличней, и чтобы дети были сыты, и грамоте их обучить...

Дело было в воскресенье, рабочие с женами и детьми прохаживались возле завода, на Южной Стороне. Светило солнце, и все было тихо и мирно, словно это не забастовка, а праздник. Вдруг, откуда ни возьмись, со всех сторон налетели полицейские и давай избивать рабочих дубинками, а некоторые так даже стреляли.

Тони все это видел. Сам он не бастовал, он не работал на том заводе, а был наборщик, как я. Но он врвался в толпу, обхватил своими ручищами первого попавшегося полицейского и оторвал его от женщины, на которую тот замахнулся. А потом принялся за остальных. Он расшвыривал их, точно... как его?.. Поль Бэниан; и там, где он стоял, людей не теснили.

Тогда в него стали стрелять. Я навестил его в больнице. У него лицо было круглое, румяное, а теперь осунулось — и ни кровинки в нем. «Кашель душит, — говорит он мне, — а кашлять не могу, очень больно...» Вот до чего мучился, даже кашлять не мог. Я спросил его: «Тони, — говорю, — чего ради ты ввязался в драку? Большую глупость ты сделал».

* * *

Шел второй час дня, и в кухне отеля Сен-Клу было тихо.

Сержант Дондоло сидел за чисто вымытым столом для резки мяса, машинально проводя пальцем по бороздкам, которые оставили в мягком дереве ножи бесчисленных поваров. Он читал старый номер юмористического журнала, забытый кем-то в кухне. Дондоло застрял посреди очередной истории про Дика Трэси; он полистал затрепанную книжку и обнаружил, что самых интересных страниц нехватает.

Дондоло с досадой бросил книжку на стол. Сплошные неприятности в этом паршивом отеле, где отдел обосновался, наконец, после того как несколько раз переезжал с места на место. Он поднял голову. За окнами, забранными решеткой, двигалось множество ног. Человек десять стариков и старух толпились вокруг помоек, выбирая из них остатки еды, выкинутой солдатами. Каждый день они приходили и копались в отбросах, пока их не прогоняла военная полиция.

В отеле вечно ворчат, что еда нехороша, — не ценят того, что имеют. Раз у них остается, что выбрасывать на помойку французам, — значит, сыты. Попробуй капитан Люмис еще раз сказать, что людей плохо кормят, он просто покажет ему, что творится у помойки. На Люмиса такие вещи действуют. На ближайшем сборе он разнесет солдат за вечные жалобы и тогда Дондоло оставят в покое.

Дондоло никогда не обольщался насчет французов — не такой он был человек. Те крохи восторгов, какие достались на его долю в первые дни, мало взволновали его; когда же восторги улеглись, он с легкостью приспособился к заведенному порядку, в то же время зорко высматривая выгодные возможности, которых не мог не таить в себе изголодавшийся город. Человеку, все еще произносившему слово «Париж» с мечтательным вздохом, Дондоло мог ответить только презрительной улыбкой.

Он швырнул юмористический журнал в ведро. Пора заняться продуктами для Сурира. Чудно получилось с этим Суриром — Дондоло никак не мог вспомнить, когда именно Сурир привязался к нему. Может быть, в баре на углу улицы Джианини, а может быть, гораздо позже, когда он заблудился и не мог попасть домой. Во всяком случае, он помнил Сурира отчетливо лишь с того времени, когда они вместе сидели за кухонным столом, причем у Дондоло страшно болела голова, в висках точно молотком стучало, а Вейданек поил их горячим черным кофе. Сурир со смехом уверял, что притащил Дондоло домой на руках; но едва ли, — Сурир был меньше его ростом и не такой плотный. Возможно, тут замешались и еще какие-нибудь люди, приятели Сурира. Но окружение Сурира не интересовало Дондоло, лишь бы все сошло гладко. В ту ночь, вернее, в то утро, после того как черный кофе прояснил его мозги, Дондоло заметил, что глаза Сурира так и бегают по полкам кладовой — Вейданек, когда ходил за кофе, оставил дверь отворенной, — замечая все: окорока, яичный порошок, сахар, муку, мясные консервы, — все припасы, ключи от которых хранились у Дондоло.

— Вы даже не понимаете, что у вас тут есть, — восхищенно сказал Сурир и улыбнулся, закрыв глаза.

— Так-таки не понимаю? — съязвил Дондоло.

Дальнейшие излияния Сурира Дондоло пресек, едва заметно поведя головой в сторону наострившего уши Вейданека, и Сурир сейчас же понял. Это едва заметное движение Дондоло и определило их отношения на будущее.

И теперь Сурир частенько наведывался в кухню отеля Сен-Клу. Нельзя сказать, чтобы Дондоло был совсем спокоен: то, что он сбывал в Нормандии, и в сравнение не шло с количеством продуктов, которые Сурир грузил в свои сумки и увозил на своем расхлябанном грузовичке. Но Дондоло заглушал угрызения совести просто: он говорил себе, что дома все наживаются на войне, а значит, и ему нужно вознаградить себя за упущенные возможности. Это его долг по отношению к Ларри и крошке Саверио. Всякий раз, пересылая Марчелли сто долларов, которые тот клал на его имя в банк, Дондоло думал: вот и еще на несколько месяцев ученья. Дать образование двум детям — это не дешево обходится.

Дондоло отпер дверь кладовой и оглядел полки. Как бы это получше составлять меню и в то же время бесперебойно снабжать Сурира?.. Он стал напряженно прикидывать, сколько

раз в неделю можно готовить бобы вместо мяса, так, чтобы все же сохранилась видимость разнообразного питания. Разнообразие! Сурир как-то рассказывал ему, какое питание получали французские солдаты, и Дондоло даже позавидовал своим братьям в старой французской армии; но потом подумал, что сейчас французскому сержанту — заведующему столовой, или как они там у них называются, и выбирать-то было бы не из чего.

Кто-то вежливо кашлянул у него за спиной.

— Сурир? — сказал Дондоло. — Здорово.

Сурир улыбнулся. — Как дела? — сказал он бодро. — Что пишут из дому? Как себя чувствует малютка Саверио?

— Опять не было почты! — проворчал Дондоло. — Как въехали в этот проклятый город, ни одного письма не получил.

— Получите! — утешил его Сурир. — Когда я был во французской армии в тысяча девятьсот сороковом году, мы никогда не получали почты — очень уж быстро отступали.

— Ага, — сказал Дондоло. — Но мы-то не отступаем.

— Это верно, — согласился Сурир.

— Все потому, что нет о нас заботы. Точно мы и не люди.

— В армии, — сказал Сурир, — я бы сказал в любой армии, убеждаешься в одном: каждый должен сам о себе заботиться.

Дондоло его замечание не понравилось — чересчур откровенно. Эта сволочь Сурир думает только о своей выгоде, а до малютки Саверио ему и дела нет.

— Ну, давайте начинать, — сказал Дондоло. — Сегодня я могу дать вам вот это и это. — Он жестом пригласил Сурира в кладовую и стал показывать, какие продукты считает возможным ему уделить. Сурир потянулся к окороку.

— Полегче! — сказал Дондоло. — Мне интересно, чтобы вы ушли поскорее, но вы что-то уж очень торопитесь. Сколько?

— За все?

— Да.

Сурир мысленно подсчитал и ответил: — Четыре тысячи.

Четыре тысячи франков, подумал Дондоло. Даже сотни долларов не получается. — Что я, с ума сошел? — сказал он. — Я лучше сам съем.

— А оно больше не стоит.

— Рассказывайте, — возразил Дондоло. — Я кое-где побывал. Знаю, какие сейчас цены.

— Это вы вздуваете цены! — Сурир изобразил благородное негодование. — Я думаю о тех, кто будет это покупать.

— Не беспокойтесь, купят.

Сурир не стал спорить. Он и сам знал, что купят, купят по любой цене. — Ладно, пять, — надбавил он.

— Вот так-то лучше, — сказал Дондоло. — Выкладывайте деньги.

Сурир извлек из кармана пачку линялых бумажек.

— Неудобный формат, чорт их побери, — фыркнул Дондоло, складывая тысячефранковые банкноты и втискивая их в бумажник. — И чего вы не выпускаете приличных денег? Вот, видали? — Он показал Суриру бумажный доллар, который всегда носил в кармане на память о доме и как символ своего долга перед семьей. — Это вот настоящие деньги!

Француз пощупал доллар. — Сто франков за него хотите?

— Не продается, — сказал Дондоло и прибавил: — Хватит время проводить, давайте все упакуем. Я услал Вейданека, но когда-нибудь он все же вернется.

Некоторое время Дондоло и Сурир усердно работали — лазили по полкам, складывали пакеты и банки в мешок, который Сурир принес с собой. Мешок казался бездонным.

— Думаете — снесете? — спросил Дондоло.

— Неужели нет? — сказал Сурир, отправляя в мешок вожделенный окорок. —

Девушки говорят, что у меня руки как железные.

Он засмеялся.

Внезапно смех застрял у него в горле. В кухню кто-то вошел.

— Есть здесь кто? — раздался голос.

— Не шевелитесь, — шепнул Дондоло. — Может, он нас не найдет. — Но в кладовой горел свет, а дверь была открыта. Дондоло хотел было выключить свет, но это еще больше привлекло бы внимание.

Когда Дондоло сообразил, что нужно просто выйти из кладовой и запереть там Сурира, было поздно: Торп уже стоял в дверях.

Вот дьявол, подумал Дондоло, почему именно Торп? Будь это Вейданек или кто другой, можно было бы договориться, взять его в долю или что-нибудь посулить. Но Торп!.. Дондоло хорошо помнил лестницу в Шато Валер в тот вечер, когда налетели немецкие самолеты, и как он избил Торпа...

— Чего нужно? — сказал он. — Чего тебе здесь нужно? Незачем шляться на кухню. Катись отсюда к чорту.

— Я есть хочу, — сказал Торп.

— Ничего нет, — сказал Дондоло. — Есть будешь в шесть часов.

— Ну что ж, — Торп сделал шаг назад, не сводя глаз с Дондоло. — Я только хотел попросить сэндвич.

— Дайте ему сэндвич! — шепнул Сурир.

Но Торп уже уходил, все убыстряя шаг.

О господи, подумал Дондоло, что же это я делаю? Стоит ему выйти за дверь, и он поднимет крик на весь дом. — Послушай-ка, вернись! — окликнул он.

Торп остановился.

— Получи свой сэндвич.

И тут, наконец, Торп все понял. Он зашел на кухню, рассчитывая застать там Вейданека. Дондоло после двенадцати обычно уходил в город. Вейданек дал бы ему сэндвич. Но если сэндвич предлагает Дондоло, значит, у него есть на то причины, и причины эти связаны с чужим человеком в штатском и с набитым до отказа мешком. Теперь все объяснилось: и несытное питание, и слухи, которые ходят среди солдат.

Что же ему предпринять? К Люмису пойти нельзя. Зато можно поделиться с товарищами, рассказать им, что он видел, или, может быть, Йетс сумеет прекратить это безобразия.

— Вернись-ка сюда, — повторил Дондоло. — Мне с тобой поговорить надо.

Торп увидел, что сержант на что-то решился, и почуял опасность.

Можно бы убежать, подумал Торп. Но их двое, штатский и Дондоло, и они что-то против него задумали. К тому же, ему не хотелось убежать; внутренний голос удерживал его. Нужно с ними сразиться. Тогда, в Нормандии, он был бессилен, но только потому, что кофе, которым его облил Дондоло, воскресил в сознании давнишнее ранение и давнишние страхи. Он помнил, что после этого случилось что-то неопишимо-страшное и что оно связано с Дондоло. Подробности же той ночи расплылись в каком-то желтоватом тумане, который по временам заливал его сны, душил его, обволакивал, мешая разглядеть опасность, заставлял его просыпаться от собственного крика и потом в течение многих дней поминутно вздрагивать и оглядываться.

Дондоло подошел ближе и сказал: — Ты, может, думаешь, что тут дело нечисто?

Торп отступил, чтобы не стоять близко к сержанту. Он слишком поздно заметил, что Дондоло преградил ему путь к двери.

— Ну и думай, мне плевать, — рассмеялся Дондоло. — Что же ты намерен предпринять?

— Я? — переспросил Торп. — Я в ваши дела не вмешиваюсь.

Он тут же пожалел о своих словах, увидя, как скривились тонкие губы Дондоло.

— Но я скажу, что я об этом думаю, — продолжал Торп. — Эти продукты — наши.

Пусть бы вы их отдали тем людям, что роются в помойке, а то ведь нет. Они достанутся спекулянтам на черном рынке. Достанутся богатым.

— Так что же ты намерен предпринять? — повторил Дондоло.

Торп не ответил. Он следил за каждым движением Дондоло.

— Давай договоримся, — предложил сержант. Он и сам, в сущности, не принимал своего предложения всерьез. Только выпусти Торпа из кухни, и пиши пропало. Но все же... может, не такой уж он честный? Не родился еще тот человек, который устоял бы, если посулить ему достаточно щедрую мзду. Может, удастся заткнуть ему рот хоть на время, чтобы Сурир успел убраться восвояси, — а Дондоло — скрыть недостачу в недельном пайке. А после этого — пойдешь докажи что-нибудь.

— О чем договоримся? — спросил Торп. Наверно, Дондоло просто хитрит, а сам хочет подобраться к нему поближе, избить его, а то и убить. — Чтобы я держал язык за зубами?

— Ну да, — сказал Дондоло, протягивая ему жирную руку. — Тут нам обоим хватит.

— По-вашему, выходит я — подлец?

— Ладно, — сказал Дондоло. — Не хочешь — не нужно. На мгновение Торп ощутил радость от того, что все ясно и война объявлена. До сих пор Дондоло воплощал в себе все то, что терзало Торпа, не давало ему покоя ни днем ни ночью. Теперь оказалось, что Дондоло — просто мелкий жулик. От этого он стал более понятным и менее страшным, словно из призрака превратился в человека.

Торп перехватил взгляд, который Дондоло бросил штатскому.

Тот стал приближаться к Торпу, и Торп понял, какая у них тактика: штатский будет подгонять его все ближе к Дондоло.

Торп обернулся к штатскому.

Сурир вскинул глаза на Торпа и поспешно отступил. Он пятился назад смешными шажками — маленький, перепуганный человечек. Торп усмехнулся.

И тут на него налетел Дондоло.

Напружив мускулы, Дондоло обхватил Торпа за шею и стал душить, стараясь отогнуть ему назад голову.

Но Дондоло не учел, что Торп, хоть и некрепкого сложения, выше его ростом и проворнее. Резким движением Торп сумел высвободиться из тисков. Дондоло потерял равновесие, почувствовал, что взлетает на воздух, и рухнул наземь.

Он застонал, но поднялся. Кровь бросилась ему в голову, все поплыло перед глазами; уже не один, а два, три Торпа с ненавистью смотрели на него.

Во время короткой передышки Торп мучительно думал. Не может Дондоло надеяться, что он будет молчать, если сам же Дондоло избьет его до полусмерти. Так что же Дондоло задумал? Убить его? Но его хватятся. Абрамеску знает, что он пошел на кухню. Куда они денут его труп?

И вдруг Торп сообразил — ведь у штатского, наверно, есть машина или какая-нибудь повозка, — не на себе же он потащит краденые продукты. Ну да, его труп увезут и бросят в Сену или в сточную канаву... Нет, нет, Дондоло служит в американской армии. Американские солдаты такими делами не занимаются... Но ведь Дондоло на все способен, он фашист. Он не только убьет его, он постарается убить его медленно и будет стоять над ним и смотреть, пока последняя капля крови не вытечет из его растерзанного тела.

Торпу и в голову не пришло, что, по теории Дондоло, достаточно избить человека, чтобы заставить его молчать. Впрочем, он уже ни о чем не успел подумать, так как Дондоло снова накинулся на него с яростью человека, который борется за свою жизнь.

Дондоло исхитрился ударить кулаком по старой ране Торпа. Мгновенно боль волнами разлилась по всему телу. Дондоло вцепился в него, твердо решив, что больше не допустит никаких глупостей. А тем временем маленький француз, не переставая, чем-то колотил Торпа по спине. Сначала это только раздражало Торпа, но потом боль от ударов усилилась, слилась с болью от старой раны, и Торп, чувствуя нарастающую слабость, вдруг понял, что если не положить конец этим подлым ударам, он скоро останется совсем без сил.

Он почувствовал, что еще минута — и он потеряет голову и закричит. Он решил закричать сейчас, пока еще находится в полном сознании. Он закричал, и Дондоло одной рукой стал закрывать ему рот. Торп укусил его в руку. Рука отвратительно пахла потом и внутренностями всех животных и птиц, которых Дондоло потрошил на своем веку. Торп крепко впился в руку зубами.

Дондоло вырвал руку и, размахнувшись, с такой силой ударил Торпа по лицу, что тот отлетел далеко от него и от француза.

Торп опять закричал — на этот раз от нестерпимой боли во рту и в ушах.

Он услышал голос Дондоло: — Уймите его! — Голос звучал неясно, издали.

И все-таки Торп знал, что не боится их; и знал, что пока нет страха, пока не вернулось то ощущение, от которого руки прирастают к бокам, а ноги к полу, — все хорошо.

Дондоло снова двинулся к нему.

Торп засмеялся — Дондоло был совсем открыт. Торп не спеша поднял ногу и ударил Дондоло в пах.

Дондоло весь скрючился, но устоял на ногах.

Теперь закричал Дондоло, и в этом крике было все — и боль, и страх, страх за себя, и за Ларри, и за крошку Саверио.

Для Торпа этот крик прозвучал музыкой. А потом все исчезло: обшитый кожей свинцовый шарик на резиновой петле, которым Сурир прежде барабанил по его спине, теперь угодил ему прямо в череп.

* * *

Торп очнулся, когда Дондоло выплеснул ему в лицо ведро воды. Рядом с сержантом стоял часовой из военной полиции, тот, что охранял отель. Второй полицейский стоял возле человека в штатском.

Сначала Торп воспринимал то, что они говорили, как тихое жужжание. Потом с усилием начал разбирать отдельные слова и складывать их в фразы.

— Крал продукты из кладовой... — услышал он. — Черный рынок... давно замечал нехватку... поймал его с поличным...

Это говорил Дондоло.

Торп услышал голос полицейского: — Здорово вы его отделали!

Дондоло засмеялся: — Ему это не понравилось, вон, взгляните на мою руку.

Да, именно так они говорили. Торп был в этом уверен. Но смысла в их словах не было. Торп попробовал встать с пола. Он зашатался, схватился за стену.

Дондоло предостерег полицейского: — Вы с ним осторожно. Он опасный человек.

Полицейский крепко ухватил Торпа за локоть. — Пошли, приятель. И без глупостей, понятно?

Пошли? Куда пошли? Зачем? Голова у Торпа стала большая-большая, такая большая, что мысли все до одной терялись в ее просторах.

— Вы куда хотите меня вести? — спросил он. Слова сходили у него с языка медленно. Распухший рот болел. — Я ничего не сделал.

— Вы же слышали, что говорит сержант, — сказал полицейский все еще дружелюбным тоном.

Дондоло сказал: — Дурачком прикидывается.

— Знаю, знаю, — сказал полицейский. — Все они так. Думают, что это им поможет. Но это не надолго. Мы им живо вправляем мозги.

Торп тряхнул головой, пытаясь собрать мысли.

— Повторите, — попросил он.

— Что повторить? — сказал полицейский и подумал: Видно, парню и вправду досталось.

— Что вам Дондоло сказал... про меня.

— Я повторю! — выскочил Дондоло. — Я поймал его с поличным: он продавал продукты этому французу — вон полный мешок набрали! Мука, окорок, яичный порошок, сахар, консервы. Я его поймал и говорю: ага, наконец ты мне попался! А он на меня бросился — взгляните на мою руку — придется к врачу итти.

— Ну вот, — сказал полицейский. — И нечего больше рассуждать. Пошли.

Торп вырвался у него из рук.

— Стойте, — сказал он, — это он врет. Врет, чорт его возьми. Он сам все сделал, а на меня сказал. Это я его поймал, когда он продавал продукты.

Полицейский взглянул на Дондоло. — Ну?

— Да что я, о двух головах? — сказал Дондоло, — Если бы я продавал имущество армии Соединенных Штатов, думаете, я бы попался такому олуху?

Торп почувствовал, как приближается страх. Голые, ослепительно белые стены кухни качнулись, стали сдвигаться. — Это ложь! — выговорил он.

— Спросите француза, — сказал Дондоло. — Он говорит по-английски.

Полицейский вопросительно взглянул на Сурира.

Сурир и Дондоло успели сговориться за несколько секунд, когда Торп замертво свалился на пол, а полицейские, заслышавшие шум потасовки, еще не добежали до кухни.

— С кем торговали? — грубо спросил полицейский. Сурир указал на Торпа: — Вот!

— Это ложь! — прошептал Торп.

Полицейский даже не расслышал. Он опять взял Торпа за локоть.

Теперь стены кухни не только надвигались на Торпа: они стали прозрачными. Он видел, как целые армии Суриров и Дондоло маршируют взад и вперед, скалят зубы, берут на караул. Их колонны окружили его, зажали, не оставили ни лазейки. Впрочем, если бы и была лазейка, он не мог бы убежать — ноги отказывались ему служить. И он подумал: все это сон. Свернуться, сжаться в комок — и проснешься в теплых, ласковых объятиях матери. С тех пор как не стало материнской ласки, все было только сном, — как вырос, пошел воевать, был ранен. Но в то же время он знал, что это не сон. Враги одолевали его, устоять против них нехватало сил.

Он покорно двинулся к дверям, устало волоча ноги.

* * *

Дондоло пошел к Люмису. Ему не хотелось итти. В Штатах, в Десятом городском районе, их босс Марчелли всегда внушал ему, что чем меньше народу знает о каждой сделке, тем лучше для всех участников и тем больше барыши. Но у Дондоло хватило ума сообразить, что после вмешательства полиции и ареста Торпа вся история уже вышла за пределы его, сержантской, компетенции.

К тому же вполне возможно, что Сурир пойдет на попятный, когда убедится, что не так-то легко переключать из американской военной полиции в уютную французскую тюрьму.

Люмису Дондоло рассказал в общих чертах то же, что военной полиции.

Люмис не поверил ни единому слову. Он знал Торпа, и он достаточно знал Дондоло, чтобы представить себе, как было дело.

— А где Торп сейчас? — спросил он.

Дондоло пожал плечами. — Наверно, в военной полиции.

Больше Люмис ничего не спросил. Его тревожило другое: чего добивается от него Дондоло?

Дондоло занимал в отделе особое положение. В своей узкой сфере он с самой Англии действовал как опытный политик. Он создал себе небольшой, но крепко слаженный аппарат: завел друзей и подкреплял эту дружбу подачками по своему ведомству. Первая забота военного человека — еда, а еду выдавал Дондоло. Люмис и сам участвовал в ночных угощениях; он хорошо помнил вкусные мясные сэндвичи с прокладкой из нарезанных

ломтиками соленых огурцов, которые Дондоло так ловко готовил для офицеров. Все это урывалось от солдатских пайков. Кто знает, как далеко это зашло, со сколькими солдатами и офицерами Дондоло связал себя невидимыми нитями.

— Очень скверная история, — сказал наконец Люмис. — Очень тяжкое преступление.

— Да, сэр.

— Продажа государственного имущества, нападение на младшего командира при исполнении им служебных обязанностей — воинский устав, статьи 94 и 95... Ну-ка, посмотрим... в случае осуждения пять с половиной лет как минимум.

Дондоло следил взглядом за пальцами Люмиса, листавшими страницы знакомой книжки. Плохо дело. Он уже представил себе, как будут жить Ларри и Саверио, когда отец их сядет в Ливенвортскую тюрьму. Потом он взял себя в руки, решив держаться своей версии, хотя бы это стоило жизни Торпу и кому угодно еще.

— Непонятно, — сказал Люмис. — Ну, хорошо, Торп — помешанный, но не в такой степени. И мне лично кажется, Дондоло, что продавать военные пайки будет не помешанный, а скорее очень расчетливый человек. Тут какое-то противоречие.

— Верно, сэр, — сказал Дондоло убитым голосом. Люмис приободрился, увидев, что Дондоло, обычно такой самоуверенный, сидит перед ним, потупив глаза, опустив голову, смущенно поглаживая руками колени.

— Придется вам меня выручать, — сказал Дондоло.

— Я всегда готов помочь моим подчиненным, — сказал Люмис. — Вы это знаете. Если у вас неприятности, скажите лучше прямо.

Дондоло сдержал улыбку. — Я от вас ничего не скрою, — сказал он. — Француз-то приходил ко мне...

— Какой француз? Где вы с ним познакомились?

— В баре, — сказал Дондоло. — Он по-хорошему со мной обошелся, угощал вином.

— Так, — сказал Люмис. Он понял, что роль злодея уготована французю.

— Сегодня он явился ко мне, — продолжал Дондоло, — и стал просить продуктов. Говорит, у него большая семья и они при немцах очень голодали. Двое детей, говорит, больны, — кажется, рахит или что-то в этом роде. А жена говорит, до того изголодалась, что молоко пропало, не может кормить ребенка. Два месяца ребенку-то, — добавил Дондоло.

— Здесь многим туго приходится, — сказал Люмис. — Но не раздавать же нам еду направо и налево.

— Сэр! — сказал Дондоло, и в голосе его прозвучала искренняя мольба, — прошу вас, как-нибудь после завтрака или обеда подойдите к окнам кухни и взгляните, как эти французы роются в помойках. Помои едят, отбросы! Просто сил нет на них смотреть.

Люмис прервал его причитания: — Значит, этот француз пришел к вам...

— У нас продуктов хватает, я ему кое-что дал. Что ж тут такого? Разве мы для того освободили этих людей, чтобы они сидели голодные?

— Вы деньги взяли?

— Немножко, — сознался Дондоло. — Француз мне их сам навязал. Я, говорит, не нищий, я зарабатываю, разве я могу взять продукты даром? Мне не хотелось спорить, если он предпочитает платить, — пожалуйста. Я ведь только сержант, сэр, ну, заработал несколько долларов, мне и о семье нужно думать.

— Да, да, конечно, — сказал Люмис. — Но как тут оказался замешанным Торп?

— Торп зашел на кухню. Нечего ему было там делать! — В Дондоло опять вспыхнула злоба. — Но у нас тут вечно во все суют нос.

Люмис сочувственно крякнул. Он понимал возмущение Дондоло. Толачьян тоже совал нос в чужие дела... Толачьян погиб.

— Торп, значит, пришел на кухню, — продолжал Дондоло, — увидел, что я даю французю продукты, и поднял крик: я, мол, обкрадываю армию! Я продаю их пайки! И жуликом меня обозвал, и по-всякому. Вы же знаете Торпа, сэр, он не в своем уме. Вы сами скажите, сэр, кто у нас не наедается досыта? Разве я не забочусь обо всех?

— Да, конечно, — сказал Люмис.

Дондоло продолжал: — Так разъярился, что мочи нет. Покраснел весь, потом побледнел, и как бросится на меня. Я, сколько мог, его удерживал, ну, а потом он меня вот сюда ногой пнул — может, на всю жизнь покалечил, сэр, — и тут уж я тоже из себя вышел. Наконец, явились полицейские.

— Это все?

— Все, сэр! — сказал Дондоло, вполне довольный своей выдумкой.

Получается складно, подумал Люмис. Но никто в отделе не поверит в филантропические наклонности Дондоло. К тому же он сам сознался, что взял деньги.

— Податься вам некуда, — сказал Люмис. — Вы торговали с французом и попались с поличным.

Дондоло кивнул.

— И едва ли Торп первый полез драться. Не такой он человек.

— А не все ли равно? — Дондоло обозлился. Что он без Люмиса не знает, кто кого бил?

— Мне не нравится ваш тон! — сказал Люмис. Мысли его приняли новое направление. Рано или поздно все эти любимчики обязательно являются к нему и затевают скандал. Дондоло зарвался. Пора его осадить.

— Мне не нравится ваш тон, сержант. И не вам указывать мне, все равно или не все равно то, что я говорю. Да, да, не вам мне указывать. Я достаточно наслушался жалоб на плохое питание, так что вы, видно, не в первый раз делали дела с этим французом, а может быть и другие французы производили впечатление на ваше сердце и ваш карман.

Люмис увидел, что попал в цель. — Хватит валять дурака, — сказал он.

— Да, хватит валять дурака! — подтвердил Дондоло. Его черные блестящие глазки сузились, губы были крепко сжаты, все лицо выражало наглое презрение. — Хотите вы мне помочь, капитан, или не хотите?

— Помочь вам?!

— Ну, да. Я никому зла не желаю.

Люмис медленно, словно в крайнем изумлении покачал головой. — Вы начинаете меня интересовать, Дондоло. С чего вы взяли, что я собираюсь помешать свершиться правосудию? Вот воинский устав, здесь все написано. За один ваш намек я мог бы предать вас военному суду.

— Я же сказал, хватит валять дурака, сэр, — заявил Дондоло, не повышая голоса. — Предать военному суду! Очень хорошо. Но когда меня будут судить, я обо всем расскажу, можете не сомневаться.

— О чем же вы расскажете, сержант?

— Вы что думаете, я тут один такими делами занимаюсь? Да когда я первый раз всерьез говорил с этим французом, — фамилия ему Сурир, вы, может, его знаете? — он на вас сослался. Сказал, что ведет дела только с порядочными людьми. — Дондоло усмехнулся. — Я тоже с первым встречным не вступаю в знакомство. Потом я еще справился у Лорда, главного механика. Лорд сказал, что на бензин пишут заявки в двойном размере и что часть бензина не доходит до нашего гаража — по дороге исчезает. А вы говорите — с чего я взял.

У Люмиса засосало под ложечкой.

Дондоло старался понять, какое действие возымели его слова. Он сделал рискованный ход и не был уверен, оправдался ли этот риск. Он знал только то, что слышал от Лорда, и помнил, что Люмис имеет какое-то отношение к заявкам на горючее.

— Я никому не желаю зла, сэр, — сказал Дондоло. — Я только думаю, что нам следует держаться друг за друга.

В эту минуту Люмис горько пожалел о том, что попал в Париж. В Париже все жили на широкую ногу. Более или менее приличный обед в ресторане стоил столько, сколько он получал за неделю; вино было недоступно, а на красивые вещички, которые можно было бы купить в магазинах и послать домой *из Парижа*, и вовсе ни у кого нехватало денег.

Выходило, что без приработка не обойтись. Он не знал, как устраиваются другие; Уиллоуби, тот как будто не стесняется в средствах. Нельзя же вечно одолажаться. Стоило ли выигрывать войну, если человек как был бедняком, так и остался? А сделки с бензином сходили так гладко!

Конечно, есть много доводов, чтобы заглушить совесть. Но если вспомнить, чему тебя учили в школе, — а истории, которые рассказывают малым детям, не так уж глупы, — станет ясно, что от совести все равно не уйти.

С отчаянием в голосе Люмис сказал: — Я не знаю, что тут можно сделать.

Дондоло встал с места. Все в порядке. Ларри и Саверио, да благословит их бог, не лишатся отца.

— Не тревожьтесь, капитан, — сказал он бодро. — Вдвоем мы с вами все уладим.

Его фамильярный тон резнул Люмиса, но утешение было ему нужно.

— Если бы еще не явилась полиция! — сказал он.

— А помните, как Торп вам испортил вечеринку в Шато Валер? — Дондоло наклонился близко к Люмису. — Спят он, это все знают. Понять не могу, почему на него еще в Нормандии не надели смирительную рубашку, — ворвался в офицерскую компанию и к лейтенанту Иетсу пристал, и всех расстроил. А с тех пор все время чудит. Воображает, что за ним следят. Его опасно оставлять на свободе.

— Ну, хорошо, — его поместят в госпиталь. А военная полиция?

— Ведь они чьи показания слышали? Мои. А Торпу кто поверит, пока врачи будут изучать, скольких у него винтиков нехватает?

— Не нравится мне это, — сказал Люмис. — Не нравится.

— Чего же вам нужно? — сказал Дондоло брезгливо. — Вы уж решайте, сэр. Если не сделаете так, Торп будет у меня камнем на шее, да и у вас тоже. Вы меня понимаете.

Люмис закрыл томик воинского устава. — Я напишу донесение, — сказал он.

* * *

Бинг устроился в пустом доме рядом с командным пунктом капитана Троя. Там было три комнаты на первом этаже — лучшую он занял для допроса пленных, в другой Дондоло стал на страже, третья оставалась пустой.

Бинг скоро покончил с допросом двух немецких солдат. Они недавно были причислены к фольксгренадерам и сбились с дороги во время отступления; они не знали почти ничего, кроме номера своей роты, номера дивизии и фамилии своего лейтенанта, который сбежал первым. Они были еще более угнетены, чем остальные пленные из таких частей; говорили, что война проиграна, и чем скорей она кончится, тем лучше.

Шийл явился забрать этих двух солдат из-под охраны Дондоло. После этого Бинг вызвал старшую из двух женщин...

В соседней комнате Дондоло разглядывал Леони. Его не отпугнул ее жалкий костюм; то, что она была грязна и нечесана, ровно ничего не значило.

Леони отлично понимала, чего хочет от нее этот американец; Геллештиль иногда смотрел на нее вот таким же взглядом, словно она отдана в его полное распоряжение. Она отодвинулась подальше от солдата; взгляд ее выражал мольбу, но и страх тоже — это-то и заставило Дондоло перейти к действию.

Он загнал ее в угол, методически и не торопясь, потом схватил за плечи и прижал к стене. Она закричала.

— Молчать! — зашипел он.

Но было слишком поздно. Бинг уже вбежал в комнату. Позади Бинга Дондоло увидел старуху, которая говорила что-то непонятное. Женщин в известном возрасте следовало бы убивать, они уже ни на что не годятся.

Дондоло вызывающе оглянулся на Бинга, и в эту минуту девушка вырвалась. Она была проворна, как кошка. Дондоло видел, как она промелькнула мимо, услышал, как хлопнула

входная дверь, как девушка сбежала по лестнице, потом выскочила на улицу — и все стихло.

Капли пота выступили у него на лбу. Он хрипло засмеялся и пригладил волосы.

— Вам это так не пройдет, — сказал Бинг. Губы у него побелели.

— А что вы мне можете сделать? — сказал Дондоло. — Ничего не может быть хуже места, где я сейчас нахожусь. В военно-полицейской тюрьме и то лучше.

* * *

Бинг не скрывал своих намерений. Он наспех поужинал вместе с Дондоло и за столом объявил ему, что нынче же вечером пойдет к Люмису с донесением.

— Я не хочу делать это за вашей спиной. Если желаете идти со мной вместе, — пожалуйста.

Дондоло взял остывшую сморщенную сосиску и задумчиво помахал ею перед глазами. Потом сунул ее в рот, откусил кусок, пожевал и выплюнул кожу.

— Что такое? Может, вы хотите навещать меня в кутузке?

— Нет, — спокойно сказал Бинг, — я хочу, чтобы вас вздернули.

Дондоло откинулся на спинку стула.

— Да что вы, — ответил он также спокойно, — а еще считаете себя образованным человеком. Не знаю, когда придет такое время, но когда оно придет, и вас со всеми вашими отправят куда следует, я тоже с радостью вас вздерну и переломаю вам все кости.

Бинг знал, что он так и сделает, дай ему волю.

— Как Торпу?

— Ничего я Торпу не сделал. Ровно ничего. Зарубите это себе на носу.

— Ну, идем? — спросил Бинг.

— Отчего же не пойти, — любезно ответил Дондоло. Он даже распахнул дверь перед Бингом, когда они выходили из столовой.

Они застали Люмиса одного в комнате раскладывающим пасьянс. Он собрал колоду.

— Очень хорошо, что вы зашли ко мне, ребята!

— Мы вовсе не в гости, сэр, — сказал Бинг. — Я хочу сделать донесение.

— Отдайте честь как следует! — сказал Люмис. — Я и не думал, что вы пришли в гости.

Он щелкнул колодой и, переводя глаза с Бинга на Дондоло и обратно, выслушал рассказ о покушении Дондоло на Леони. Какие пустяки! Так, значит, старуха разволновалась!.. В военное время старухам и полагается волноваться.

— Имеете что-нибудь добавить? — спросил он Дондоло.

Дондоло покосился на него с хитрой улыбкой на тонких губах.

— Да что ж, сэр! — сказал он. — Конечно, я к ней пристал. Что же тут такого?

— Это покушение на изнасилование, — сказал Бинг. Дондоло взглянул на Бинга с холодной ненавистью.

— Я не знал, что эта дамочка так нужна сержанту Бингу. Чего же он мне не сказал? Я бы мог и подождать.

Люмис опять начал раскладывать карты. — Вы понимаете, Бинг, что такое обвинение является не совсем обычным. Может быть, вы теперь облегчили душу и согласитесь, чтобы я не давал делу хода.

— Я настаиваю на том, чтобы обвинению был дан ход, — сказал Бинг. — Если б это был кто-нибудь другой, я бы взял свои слова обратно. Но не для этого человека. Не после того, что было сделано с Торпом. Ведь это Дондоло уличил Торпа — по официальной версии?

Люмис чуть было не спросил: что вы хотите этим сказать — «по официальной версии»? Но закусил губу и, отвернувшись от света, еще раз обдумал этот вопрос. Ему вспомнилась та девушка в Париже. Он понимал Дондоло, но почему с ним всегда выходят какие-то неприятности?

— Знаете, — сказал Люмис Бингу, — вам придется разыскать эту девушку — ведь у меня только ваше заявление против Дондоло.

Но тут вмешался Дондоло. С цинизмом, сбившим с толку Люмиса, он сказал: — Вы забываете, сэр, я же сознался!

— Ах, да, да — вы сознались. — Потом, повернувшись к ним обоим, закричал: — Чего вы от меня хотите?

— Чтобы вы дали ход обвинению! — настаивал Бинг.

— Мне все равно, — сказал Дондоло, глядя прямо в лицо Люмису. Господи, думал он, ну и туго же он соображает...

Люмис наконец понял. Это разрешало все его затруднения.

На минуту он обеспокоился — Дондоло уж *чересчур* явно дал понять, чего хочет. Ну, что ж, может быть, Бинг тоже непрочь отделаться от Дондоло.

— Хорошо! — сказал он. — Капрал Дондоло, вам объявляется строгий выговор. Вы будете отчислены из этой части и отосланы на приемный пункт пополнения. Завтра я дам об этом приказ.

Люмис взглянул на Бинга. Если Бингу этого мало, то можно обернуть дело так, что и Бингу не поздоровится. Но Бинг казался довольным. «Пункт пополнения» для него означал, что Дондоло очень скоро превратится в пехотинца.

Бинг забыл о том, о чем хорошо помнил Дондоло: по своей квалификации он сержант-повар и в самом худшем случае его отошлют на кухню в какую-нибудь другую часть. Дондоло имел основания надеяться на большее: он был уверен, что его долгий опыт службы в армии поможет ему устроиться на теплое местечко в глубоком тылу или даже вернуться в Штаты. Столько всякой гнили развелось в армии — стоит только принюхаться. В армии порядки в конце концов почти те же, что и дома, в Десятом городском районе, и ничего не может случиться с человеком, который умеет припугнуть кого надо.

А Бинг, радовался Дондоло, попрежнему будет ездить с опасными заданиями, и другой простофиля будет возить его — уже не Дондоло, слава богу. И где-нибудь уже отлита пуля с именем Бинга на ней. Дондоло надеялся, что эта пуля — крупного калибра.

«Демократия» Фарршиа

Девитту не хотелось ссориться с Фарришем. Людей надо принимать такими, какие они есть; не всякий материал поддается переделке; нельзя сказать, чтобы полковник вообще стремился переделывать людей; он не считал себя для этого ни достаточно совершенным, ни достаточно авторитетным. Но когда он видел, что человек заблуждается и что его заблуждение может повредить делу, за которое этот человек отвечает, он пытался по возможности тактично образумить его.

Время для применения этого метода к Фарришу было неподходящее. Девитт беседовал с ним в последний раз в Рамбуйе, но с тех пор не терял его из вида. Фарриш, который прошел всю Францию в авангарде наступающих войск, первым почувствовал, как движение замедлилось. Теперь он застрял, не доходя Метца. У него был определенный план: быстро обойти город и окружить его, как разлившаяся река окружает остров, прежде чем скрыть его под своими волнами. Но наступление захлебнулось — подвело снабжение, и танки пришлось отвести назад за отсутствием горючего.

За собою Фарриш не чувствовал никакой вины.

— Может быть, вы перерасходовали довольствие, — вслух размышлял Девитт. — Ведь это задача по технике снабжения: столько-то людей и материальной части на столько-то миль. С цифрами не поспоришь.

Фарриш, принимавший Девитта в своем прицепе, вышел из-под горячего душа, огромный, распаренный и красный, и облачился в голубой купальный халат. — Хотите? — предложил он гостю. — Пользуйтесь, пока вода не остыла.

— Спасибо, с удовольствием, — отвечал Девитт. — Жилье у меня в Вердене вполне

приличное, но водопровод какой-то допотопный.

— Полотенца вон там! — Фарриш указал на шкафчик возле кровати. — Кто говорит, что я спорю с цифрами? Цифры мне, мой милый, известны, с цифрами у меня все в порядке. Но мне противно, — понимаете, противно, — он шлепнул себя по голой ляжке, — что нужно посылать солдат в атаку на эти германские дзоты, когда я знаю, что с легкостью мог бы взять фрицев голодом, если бы мой бензин не распродали на улицах Парижа. Да, да, не говорите, что я ошибаюсь! Каррузерс был в Париже и своими глазами видел. И другие видели.

— Что? — прокричал Девитт. Струя воды, падавшая ему на спину, заглушала голос Фарриша.

— Продали! — крикнул Фарриш. — Иуды проклятые! Пусть вся кровь, какую я вынужден пролить, падет на их голову.

Девитт завернул кран и стал растирать себе грудь.

— А вы толстеете, — сказал Фарриш. — Сидячую жизнь ведете, мой милый. Я вот все время двигаюсь... сейчас, впрочем, все больше назад.

Девитт кряхтя нагнулся, чтобы вытереть ноги. — Доживите до моих лет, — сказал он, — тогда не будете хвастаться.

— За одну неделю мне два раза пришлось отвести мой КП, — сказал Фарриш. — Что-то здесь нужно сделать, и я это сделаю.

— Что же вы можете сделать? — спросил Девитт. — Разве что вывернуть наизнанку самую природу американцев?

Девитт помолчал, потом добавил: — А чего вы в сущности хотите? Чего вы добиваетесь?

Фарриш поднял брови: — Я как-то об этом не думал.

— Не уклоняйтесь от этого вопроса... генерал! — Никогда еще в разговоре с Фарришем Девитт не величал его генералом. Фарриш понял, что это значит.

— Хорошо! — вздохнул он. — Я вам скажу. Я много чего насмотрелся, и много думал, и много чего узнал. Нам нужна чистка. Нам нужно избавиться от нежелательных элементов — от жуликов, политиков, от всех этих господ, у которых всегда наготове тысячи доводов и возражений. У нас в армии чересчур много демократии, это не годится. Из-за этого мы теряем людей.

— Что же такое, по-вашему, демократия?

— А вот то самое, что я сказал: много говорят, мало делают, пускаются в политику, подсиживают друг друга, крадут мой бензин. Войну нужно вести твердой рукой...

Он заметил неодобрительный взгляд Девитта.

— Ничего не поделаешь, мой милый. Когда война кончится, пусть опять занимаются кто чем хочет — политики политикой, жулики мошенничеством. А сейчас нужно брать пример с нашего противника, хоть, может, это и неприятно. Да если бы у них в армии украли десятую часть того бензина, который наши распродали в Париже, они бы сто человек поставили к стенке, и правильно сделали бы. Сам я чист как стеклышко, и вы тоже, и еще есть много таких людей. Давайте объединимся и вычистим эти конюшни!

— Идея заманчивая, — сказал Девитт. — Но вы, конечно, знаете, как это называется.

— Называйте как хотите. Лишь бы был толк.

— А толку-то как раз и нет, — резко сказал Девитт. — Вы просто не знаете фактов. А у меня стол полон документов — захваченных документов и приказов, показаний пленных. Вы говорите — у нас коррупция, продают, покупают. Думаете, у немцев не то же самое? Сплошные политиканы и карьеристы, и в армии и вне ее. Фашизм — самая продажная система в мире, потому Гитлер и завел ее у себя.

— Я не говорил, что нам нужен фашизм, — сказал Фарриш, старательно подбирая слова. — Чтобы война закончилась победой, ее должны вести военные. «Армия граждан»... Ну, ясно, она состоит из граждан, а то из кого же? Но руководить ею должны военные, согласно военным законам, и по-военному — железным... железной...

— Железным кулаком?

— Вот-вот. Железным кулаком.
— Когда-то мы сочинили вам листовку. Вы помните, что в ней было написано?
— А как же! Она мне понравилась. Четвертое июля! Вот за это мы и воюем — за сильную Америку, чистую Америку, такую, которой можно гордиться!
— И за равенство перед законом?
— Конечно... только закон должны представлять мы. Нам нужна военная каста...
— А демократия?
— Разумеется. Но демократия должна быть как щит — сверкающая, крепкая, такая демократия, за которую каждый с гордостью пойдет воевать.
— Государство состоит не только из военных. Вы бы не продвинулись ни на милю, если бы не труд тысяч людей; вы никогда их не видели, никогда о них не слышали, но если они не работают заодно с вами, вы — ничто. У нас, как бы это сказать, индустриальное общество. То, что вы предлагаете, годилось, может быть, для Средних веков...
— В истории я слаб. Я — всего только командир дивизии. У меня пятнадцать тысяч людей, большинство из них я не знаю ни в лицо, ни по имени. Но я их заставляю действовать заодно, так? Я даже посылаю их умирать, а этого никто не требует от тех, о ком вы говорите!
— Я все же думаю, что из ваших планов ничего не выйдет. — Девитт говорил медленно, подчеркивая каждое слово. — Мы, как-никак, американцы. Мы не такой народ.
— Народ! — фыркнул Фарриш. — Народ распродает мой бензин. А я вот думаю, мой милый, не отстали ли вы от жизни?
Девитт уехал к себе в Верден. По дороге он думал: хорошо, что удалось хотя бы принять горячий душ.

Один другого стоит

Лемлейн сидел, запершись с Уиллоуби, в кабинете военного коменданта.
— Я вашу игру насквозь вижу, — сказал Уиллоуби. — И не думайте, что это вам так сойдет.
— Какую игру? — невинно удивился Лемлейн.
— Что вы там наплели генералу? — Уиллоуби сердито ездил на своем вертящемся кресле из стороны в сторону. — Генерал по доброте своей разрешил вам обращаться к нему в известных случаях. Не советую пользоваться этим разрешением.
Лемлейн развел руками: — Помилуйте, сэр, это само собой разумеется.
— Сотрудничество так сотрудничество, понятно? Можете как угодно укреплять тут в Креммене свои позиции, я не возражаю, но только под моим контролем. Никаких фокусов у меня за спиной!
— Не будет, — заверил его Лемлейн. — Я знаю свое место.
Уиллоуби узнал цитату из речи Фарриша и внимательно посмотрел на Лемлейна, стараясь определить, что кроется под этой серой оболочкой.
— По правде сказать, сэр, — с расстановкой проговорил Лемлейн, — довольно трудно не навлечь на себя ваше недовольство, постоянно подвергаясь всякого рода нажимам. Мы — побежденные, и наше дело — повиноваться, но как быть, если попадаешь в сферу противоречивых интересов?
— Слушаться нужно меня, — раздраженно заявил Уиллоуби. — Что еще там за нажимы?
Лемлейн изобразил на своем лице переживания человека, разрывающегося между долгом и совестью. — Вам, вероятно, известно, сэр. Едва ли он предложил бы мне это без вашего одобрения.
Уиллоуби подозрительно покосился на него. — Кто предложил? Что?
— Капитан Люмис, сэр! — Лемлейн, казалось, готов был рассыпаться в извинениях.
Уиллоуби пришло в голову, что Лемлейн хочет посеять раскол в рядах военной администрации. — Да? — спросил он. — Так что же капитан Люмис?

— Я об этом узнал через герра Тольберера из ассоциации поставщиков угля, — сказал Лемлейн. — Тольберер думал, что я знаю; вы слышали Тольберера на заседании, сэр, он не блещет умом.

— Да, отнюдь не блещет. Но нельзя ли ближе к делу.

— Капитан Люмис требует десятипроцентных отчислений с оборота каждого предприятия, Которому он разрешит выдать лицензию.

Уиллоуби встал и подошел к окну.

За окном четко вырисовывались развалины кремменских зданий: день был ясный и солнечный. Развалины обманчивы. Смотришь на них с высоты птичьего полета — и кажется, что никакая жизнь там невозможна. Но стоит пройти по засыпанным обломками улицам и видишь, что в уцелевших комнатах ютятся жители, что в подвалах и пристройках уже выросли лавчонки, пробраться к которым можно только перелезая через нагромождение кирпича и щебня. Двумстам тысячам оставшихся в живых кремменцев нужно где-то торговать, нужно искать каких-то заработков, производить что-то, годное для продажи или обмена. В основу придуманного Люмисом рэкета лег простой и здравый расчет — настолько простой и здравый, что самому Уиллоуби он не пришел в голову.

Уиллоуби круто повернулся и поймал на лице Лемлейна довольную улыбку.

— Военная администрация, — веско отчеканил он, — поощряет систему отчислений такого рода. Эта система, изымая излишки наличности, ограничивает наблюдающуюся инфляционную тенденцию. Вы, немцы, должны быть благодарны за это — вспомните бешеную инфляцию 1923 года.

— Деньги следует вносить капитану Люмису? — спросил Лемлейн; от его улыбки не осталось и следа.

— Да, конечно! — Уиллоуби, казалось, был слегка раздосадован. — Капитан Люмис отчитывается

Кафе назвали «Клуб Матадор» в честь Фарриша и его дивизии, а также в расчете привлечь американских офицеров и солдат, болтающихся без дела среди развалин Креммена. Здесь торговали вином и ликерами недурного качества — поскольку они происходили из награбленных запасов, сбываемых на черном рынке, — и жиденьким пивом, которое, впрочем, не пользовалось особенным спросом. Цены даже для американских карманов были непомерные: ведь кроме дани, наложенной Люмисом, нужно было покрыть городские и общегосударственные налоги, шедшие в репарационный фонд, оправдать наценки черного рынка и оставить кое-что в пользу герра Вайнера, содержателя кафе, а также стоявшего за ним синдиката, к которому и бургомистр Лемлейн имел кое-какое отношение.

Но все же кафе было битком набито.

Чтобы попасть в него, нужно было пройти через разрушенный дом и грязный двор, кишевший мальчишками, которые приставали к вам, клянча окурки или предлагая свести к своей старшей сестре, или и то, и другое.

В вестибюле вас встречал роскошный швейцар в коричневой ливрее с золотыми эполетами и гардеробщица, костюм которой состоял из коротких шелковых штанишек, лифчика и крохотного белого фартучка; а из зала несся многоголосый немецко-американский говор, смех и томные укачивающие звуки джаза.

Оркестр приютился в углу небольшой и тесной танцевальной площадки. То и дело какая-нибудь пара, сбитая с ног в толкотне, валилась прямо на барабаны; но после короткого замешательства музыка возобновлялась, и потные, разгоряченные вином танцоры продолжали прижиматься друг к другу.

За угловым столиком, стиснутые вплотную, сидели Люмис, Марианна, Уиллоуби и напротив них две немецкие пары. Немцы сначала чувствовали себя неловко, но видя, что под действием виски американцы подобрели, они тоже приободрились, и вскоре один из них, тощий, длинноволосый субъект с зеленым лицом наркомана, и, вероятно, в самом деле наркоман, настолько осмелел, что стал уговаривать Уиллоуби купить какой-то шедевр Брейгеля вместе с документами, удостоверяющими его подлинность. Он говорил на

чудовищном ломаном английском языке. Второй немец, короткий толстяк, все время молчал, держа обеими руками свой стакан. Он не сводил глаз с Марианны. Она была в новом платье, которое успела потребовать от Люмиса. Монашеская строгость высокого ворота подчеркивала нежный овал ее лица. Широкие поля ее шляпы бросали тень на глаза, вызывая желание заглянуть в них поглубже. В общем, она была весьма эффектна. Толстый немец то и дело ронял на пол платок, вилку или еще какой-нибудь предмет и, кряхтя, лез за ним под стол, чтобы полюбоваться ее стройными ногами, перехваченными у щиколотки широкими ремешками элегантных лакированных туфель.

Люмис замечал, что Марианна все ближе и ближе клонится к Уиллоуби, и в нем еще сильнее разгорались страсти, бурный прилив которых он испытывал с того самого дня, когда Марианна с рекомендательным письмом от Йетса вошла в его канцелярию и в его жизнь. Все это время он жил в угаре непрерывного блаженства и непрерывной новизны ощущений, и вся его прежняя жизнь предстала теперь в тумане сожалений об упущенном.

Ему хотелось бы спрятать ее от всего мира в комнатке, которую он для нее реквизировал. Но она настояла, чтобы он дал ей работу у себя в канцелярии. Она его любит, говорила она, но не желает быть его содержанкой. Он долго вздыхал, удрученный таким избытком нравственной щепетильности, но потом уступил — да и что еще он мог делать, как не уступить ей во всем? Со страхом он ждал минуты, когда кто-нибудь обнаружит его сокровище.

Эта минута настала, когда в канцелярию зачем-то заглянул Уиллоуби и тотчас же спросил: — Где это вы себе такую хорошенькую секретаршу отхватили? Нет ли там еще в этом роде? — Люмис повел себя как нельзя глупее; не сумел скрыть своей озабоченности и тревоги; не узнал, какое, собственно, неотложное дело привело Уиллоуби к нему в канцелярию; и не успел оглянуться, как ему навязали этот кутеж в «Клубе Матадор».

А ей, конечно, только того и нужно было!

Посмотреть лишь, как они танцуют! Как она виснет на Уиллоуби! А он-то! Физиономия так и лоснится от восторга. Впервые в жизни Люмис испытывал муки ревности, унижительное чувство своего бессилия. Вот вскочить бы сейчас, вырвать ее из объятий этого скота, дать ему в зубы, а ее избить так, чтоб на всем ее прелестном теле живого места не осталось. Уиллоуби и Марианна вернулись к столу рука об руку, усталые, запыхавшиеся. Люмис выжал на своем лице кривое подобие улыбки.

— Полковник чудно танцует, — сказала она, повысив Уиллоуби в чине.

Уиллоуби допил свой бокал и потребовал еще вина. Толстый немец, окончательно позабыв про свою даму, пробормотал что-то насчет «*mein Schuh*» и нагнуллся завязать шнурок башмака. Наркоман снова завел речь о Брейгеле.

Люмис решил, что надо действовать. Он встал. Не дав толстому немцу времени вынырнуть из-под стола, он схватил его за шиворот и стал орать на него. Прибежал официант и с ним еще какие-то двое, по виду не то вышибалы, не то отпущенные на честное слово эсэсовцы. Американские офицеры за соседними столиками принялись подзадоривать собрата. Хозяин, герр Вайнер, в безукоризненном смокинге, проскользнул сквозь толпу и его воркующие извинения присоединились к гневной тираде Люмиса о паршивых фрицах, которые осмеливаются беспокоить даму американского офицера.

Посреди всей этой суматохи Марианна сидела с видом принцессы, чью карету остановила нищая толпа, и не то скучая, не то забавляясь, обмахивалась своей салфеткой.

Уиллоуби сказал ей: — Все они — зверье. Вы слишком хороши для них.

— Вы такой чуткий, — улыбнулась она ему. — Такой милый.

— Нет, — возразил он. — В глубине души я такой же зверь, но я из той породы, которая охотно позволяет себя приручить. Это нелегкое, но очень увлекательное занятие — приручать зверя. Хотите попробовать?

Она не все поняла из его слов. Но поняла достаточно, чтобы определить: это — предложение.

Герр Вайнер, из уважения к власти, представителем которой являлся Люмис, уладил

инцидент тем, что велел выставить вон обоих немцев вместе с их дамами.

— Ну вот! — сказал Люмис. — Теперь у нас хоть есть Lebensraum.⁹ Нахальство! Я заранее заказываю стол, а они мне подсаживают еще кого-то. Хотел бы я знать, кто, собственно, выиграл войну?

Снова заиграла музыка; Уиллоуби кивнул Марианне и они вклинились в толпу танцующих. Люмис мрачно озирал стол, пустые бокалы, тарелки с застывшим соусом, бледно-розовые пятна пролитого вина на скатерти. Он думал о Крэбтризе, который теперь дома и корчит из себя героя, щеголяя значком Пурпурного сердца, полученным обманным путем. Он думал обо всей этой войне, о том, как нелегко ему в ней приходилось, как его шпыняли и затирали, постоянно держа на вторых ролях, и как единственный плод, который ему лично принесла победа, вырывают теперь у него из рук.

Он встал и, протолкавшись сквозь толпу танцующих, тяжело положил руку Уиллоуби на плечо.

Уиллоуби решил, что Люмис просит уступить ему даму на остаток танца, и сказал: — Ну, ну, мы не на балу в пользу Красного Креста, здесь это не принято.

— Мне нужно поговорить с вами.

— Сейчас?

— Сейчас.

— Простите! — сказал Уиллоуби Марианне и бережно, с фамильярной заботливостью повел ее к столу.

— Ну, в чем дело? — Уиллоуби был недоволен и не пытался скрывать это. Он догадывался, в чем дело.

Люмис хотел было возвать к великодушию Уиллоуби, напомнить ему о том, сколько перед ним открыто разнообразных возможностей, сказать, что это жестоко, бесчеловечно и недостойно такого человека — отнимать у бедняка его единственное сокровище. Но, взглянув на Уиллоуби, он отказался от этой мысли; лицо начальника, суровое, несмотря на отвислые щеки и жирный подбородок, не предвещало ничего хорошего.

И Люмис просто выпалил: — Это моя девушка. Я ее нашел, я ее устроил и я ее не отдам.

Короткие толстые пальцы Уиллоуби отбивали дробь на скатерти.

— Я уже заподозрил, чем тут пахнет, когда вы подняли весь этот скандал с фрицами. Не валяйте дурака, Люмис, будьте мужчиной. В городе полно женщин, и любую вы можете получить за пачку сигарет.

Люмис поднялся. — Марианна! — скомандовал он, — Мы уходим!

Уиллоуби опустил ему руку на плечо. — Ей здесь нравится. Она уйдет тогда, когда я сочту, что вечер окончен. И уйдет со мной. — Он говорил спокойным, деловым тоном, как будто вопрос уже был решен и согласован.

— Я этого не допущу! — взвизгнул Люмис.

— Как же вы думаете помешать этому?

Люмис вдруг забыл, где он, кто он и представителем чего является. Он видел только Марианну, улыбающуюся, довольную, невозмутимую.

Он перегнулся через стол. Его рука сама потянулась и схватила Уиллоуби за ворот.

Уиллоуби взял со стола ложку и ударил его по косточкам пальцев.

— Сядьте!

Люмис почувствовал боль. Это прояснило его сознание.

— Я не хочу неприятностей, — сказал Уиллоуби. — Ни с вами, ни с кем вообще. Но если вам непременно нужны неприятности, это можно устроить. Есть вещи, о которых я знаю и молчу Я знаю, например, что сейчас мне придется переплатить по счету, потому что десять процентов с доходов предприятия идут в ваш карман. И не только этого предприятия,

⁹ Жизненное пространство (нем.).

но и любого, функционирующего в городе.

Люмис так и сел.

— Я не возражаю против того, чтобы вы доили фрицев. Но отныне вам придется делить ваши прибыли, и делить честно, пополам. И отныне я позабочусь, чтобы вы знали свое место. Пойдем, детка, — Уиллоуби обернулся к Марианне. — Пойдем, дотанцуем.

Марианна порхнула в его объятия. Она слегка откинула назад голову; ее гладкие черные волосы блестели в рассеянном свете, и на лице была написана полнейшая покорность. Сущность ссоры от нее не укрылась; она понимала английский язык лучше, чем говорила на нем.

* * *

Для Уиллоуби выдался на редкость удачный день.

Генерал его ни разу не вызвал. Во всех отделах комендатуры все шло своим заведенным порядком, а потому ровно в пять часов он смог отбыть к себе в Гранд-Отель, где ему предстояла приватная беседа с Лемлейном. А вечером должна была приехать Марианна.

Все складывалось как нельзя лучше — частные дела следовали за служебными, удовольствия — за трудами. В такие дни все, что от человека требуется, это мелкие организационные мероприятия — распорядиться, чтобы с гражданской автобазы за Марианной вовремя была послана машина; дать Лемлейну понять, что пора выполнить данные обещания.

Лемлейн явился минута в минуту. В руках у бургомистра был светлокоричневый сафьяновый портфель с золотыми инициалами Уиллоуби на клапане.

— Этот портфель, — сказал Лемлейн, — есть знак глубокого уважения жителей Креммена к своему военному коменданту. Содержимое же, сэр, составляет своего рода репарацию. Фрау фон Ринтелен, члены ее семейства и я счастливы возратить законному владельцу утраченные им акции ринтеленовских предприятий вкупе со всеми, необходимыми документами. Желаете просмотреть?

— А как же! — весело сказал Уиллоуби. — Мешок великолепен, но я все же хочу взглянуть на кота.

И они просидели добрых два часа, проверяя счета и расписки, — пересчитывая хрустящие листы гербовой бумаги, набрасывая длинные столбцы цифр, складывая и умножая. Косые лучи заходящего солнца озаряли лоснящиеся щеки Уиллоуби, и даже Лемлейн в этом освещении казался не таким безнадежно серым. Но вот наступили сумерки. Уиллоуби глубоко вздохнул, собрал бумаги, запер портфель и засунул его в чемодан между брюками.

— Лемлейн встал. — Мы выполнили свой долг, сэр, — сказал он торжественным, но в то же время не совсем уверенным тоном

— Да, да, мой милый Лемлейн! Теперь все в полном порядке!

— Но я все еще не...

Уиллоуби добродушно усмехнулся. — Это можно уладить. Официально назначаю вас впредь до выборов кремменским бургомистром. Надеюсь, вы достаточно разбираетесь в демократических порядках, чтобы обеспечить себе успех у избирательной урны?

— О, да, Herr Oberstleutnant. — Лемлейн не трогался с места. — Почту за честь нести эту должность, пока я могу быть полезен вам и генералу Фарришу...

Вот прилип, подумал Уиллоуби. — Ну? — Он не пытался скрыть свое нетерпение.

— Мы бы хотели получить нечто более прочное, сэр, более ошутимое.

— Письменное подтверждение, что ли?

Лемлейн вдруг перестал быть смиренным и послушным немецким чиновником. — На заводах Ринтелен все готово к возобновлению производства. Для этого мне необходимы полномочия от вас. Мы вам не мало дали, сэр. Остальное наше. Идет?

— Завтра! — сказал Уиллоуби. — Завтра все будет улажено. — И видя, что Лемлейн

все еще колеблется, он решительно взял его за плечи и повернул к дверям.

Даже эта первая тень разногласий не омрачила превосходного настроения Уиллоуби. Мысль его продолжала работать, пока он брился и одевался, готовясь к свиданию с Марианной. Он обдумывал возможности поездки в Париж, к князю Березкину. Придется отложить кое-какие дела. Придется натаскать Люмиса, чтобы тот мог заменить его на время отсутствия. Придется получить у Фарриша разрешение на отпуск. Но все это не представляет особых трудностей.

Уиллоуби уже видел свой финансовый расцвет. Он прикидывал, сколько ему еще потребуется пробыть в Германии после возвращения из Парижа. Самое большее — полгода. А потом — домой, под сень фирмы Костер, Брюиль, Риган и Уиллоуби. Война, в общем, оказалась неплохим коммерческим предприятием. Одни занялись картинами и бриллиантами, другие собирают фотоаппараты или продают немцам мыло, шоколад и сигареты. Мелкота, нарушают закон ради грошовой наживы! Законы пишутся не для того, чтобы их нарушали, законы пишутся для того, чтоб действовать на их основе. Он всегда говорил, что война ничем не отличается от мира; только на войне крупнее ставки, шире возможности и гораздо серьезнее решения, которые приходится принимать. А в остальном — все вопрос связей и умения рассчитывать на три хода вперед и шевелить мозгами, которыми нас наделил бог; в штате Индиана или в Руре — безразлично.

Скоро Марианна будет здесь. Нужно заказать обед на двоих, сюда, в номер...

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](http://Royallib.ru)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)